

18+

роман



Виланд

Оксана Кириллова

Оксана Кириллова

Виланд

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70013503

Виланд: Альпина нон-фикшн; Москва; 2024

ISBN 9785002231850

Аннотация

Немецкий школьник Виланд фон Тилл становится охранником концлагеря Дахау из любви к родине. Душой болея за униженную после Первой мировой Германию, молодежь возводит в герои обладателя мягкого голоса «с австрийским металлическим звучанием» – Адольфа Гитлера... Став сотрудником Дахау, Виланд видит то, что расходится с газетными статьями и громкими заявлениями. Но продолжает верить в свою правду, даже наблюдая массовые мучения евреев и Берлин под английскими бомбами. Ему еще многое предстоит осознать, и ему будет что вспомнить в свои 80 лет на койке дома престарелых. С этих воспоминаний и начинается рассказ Виланда о его судьбе, полной страстей, порывов, преступлений, романтической любви и поисков истины.

Как же я завидую старикам, жалующимся, что «память уже не та». Я помню. Я все помню. Память – самое тяжелое наказание, на какое можно обречь человека. И, вопреки всеобщему заблуждению, забыть, увы, гораздо сложнее,

чем хранить в голове ясно и отчетливо. Кому-то страшно жить воспоминаниями, потому как это значит, что ты уже одной ногой в могиле, но много страшнее, когда твои воспоминания такие... Лай сторожевых собак и крики заключенных не дают мне спать. Я хочу спать. Господи, как же я хочу спать. Без снов.

«Виланд» – первая часть трилогии «Тени прошлого» Оксаны Кирилловой. Проведя огромную исследовательскую работу, в том числе с архивными материалами, вводя в роман реальные фигуры Гитлера, Эйхмана, Геббельса, автор сплела клубок судеб выдуманных героев. Нить тянется от 30-х годов XX века к 90-м, от Германии к России. Нас ждут детективные повороты и невероятные совпадения. За судьбой каждого персонажа стоит История. История немцев, евреев и русских. Войн и диктаторов. Пропаганды и правды. Вершителей судеб и винтиков системы. Любви к родине и любви к ближнему.

...по сути своей я не был убийцей, я не был жестоким чудовищем, и, что самое главное, я не был глупым человеком. Каждое мое действие было осознанно и определялось исключительно верой в его необходимость, оно определялось истинной любовью к своей стране. Я верил в нужность этой тотальной войны на всех фронтах, и на нашем внутреннем лагерьном в том числе, со всей искренностью, на которую только был способен, а потому все, что я делал, я делал с чистой совестью.

Для кого

Для широкого круга читателей, тех, кто интересуется историей XX века.

Все, что разум человеческий уже претворял в жизнь, может повториться, каким бы ужасным это ни было и сколько бы от того ни зарекались. Такова натура человека.

Содержание

Пролог	10
Апрель, 1943	10
Хайфа, август, 1960. Допрос	12
Октябрь, 1962	13
Ноябрь, 1980	15
Август, 1961	16
Май, 1985	18
Виланд	79
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Оксана Кириллова

Виланд

Редактор *Вера Копылова*

Издатель *Павел Подкосов*

Главный редактор *Татьяна Соловьёва*

Руководитель проекта *Мария Ведюшкина*

Ассистент редакции *Мария Короченская*

Художественное оформление и макет *Юрий Буга*

Корректоры *Елена Барановская, Ольга Смирнова*

Компьютерная верстка *Максим Поташкин*

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование элек-

тронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© О. Кириллова, 2024

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

*** * ***

роман

Виланд

Оксана Кириллова

альпина
ПРОЗА

Москва, 2024

Пролог

...И опустошители твои будут опустошены...
КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ, 30:16

Апрель, 1943

Из запроса компании «Байер» в административное управление Аушвица: «...Стоит отметить, что партия из 150 женщин прибыла в хорошем состоянии. Однако нам не удалось получить заключительные результаты, потому что все они скончались во время испытаний. Любезно просим вас прислать еще одну группу женщин, в таком же количестве и по такой же цене (то есть 170 рейхсмарок за каждую). С уважением...»

Из телеграммы в Главное управление имперской безопасности, отдел IV В-4, Берлин, от 10.07.1942: «...Аресты евреев без гражданства в Париже будут проведены французской полицией с 10.7 по 18.7.42. Можно ожидать, что после этих арестов останется около 42 000 еврейских детей. Для этих детей изначально предусмотрена общественная помощь во Франции. Однако поскольку длительное совместное пребывание этих еврейских детей с нееврейскими неже-

лательно, а Союз французских евреев может разместить в своих приютах не более 400 детей, прошу срочно сообщить по телеграфу ваше решение: можно ли, начиная примерно с 10-го эшелона, отправлять вместе с подлежащими выдворению евреями без гражданства и их детей. Отмечу, что премьер-министр Пьер Лаваль лично выступил с предложением депортации детей, не достигших шестнадцати лет.

Гауптштурмфюрер СС Даннекер. Париж».

Хайфа, август, 1960. Допрос

Капитан полиции Авнер Лесс. Когда концентрационные лагеря отправляли в Главное управление имперской безопасности отчеты об умерших, разве они не должны были попадать и к вам, если там были евреи?

Подсудимый Э. По евреям этого не делали. Когда вначале были приказы об отдельных экзекуциях, тогда, конечно, были личные дела, а когда пошли уже списки, это стало уже... массовое дело. У нас списков не было. Я думаю, что такой... поименный список вряд ли... Зачем центральной инстанции отдельные имена? Нам бы понадобились для этого отдельные папки, целые шкафы, чтобы вместить поименные списки... Понимаете?

Октябрь, 1962

Из частной переписки: «...бывшая узница Езерская. Она уже помогала комиссии, если ты помнишь. Неизвестно, она знала или указала наобум, но на территории третьего крематория по ее наводке была обнаружена очередная уникальная находка. Банка была прикопана всего-то сантиметров на двадцать. Удивительно, как ее не нашли местные, когда перерывали тут все в поисках мифического еврейского золота. Не знаю, в курсе ли ты, но после официального закрытия лагеря поляки из окрестных деревень устроили здесь настоящий золотой прииск со всеми вытекающими. Они копали землю рядом с крематориями Биркенау и промывали ее в огромных мисках, говорят, кто-то даже нашел золотой зуб да пару монет, но по большей части намывали только человеческие кости. Ума не приложу, что чувствовали эти кладбищенские гиены, копаясь в могиле, в которой упокоились миллионы. Возвращаясь к нашей находке – вот что действительно на вес золота! Хорошо, что ее догадались обернуть в листовое железо, иначе треснула бы. Внутри, дружочек мой, были листы – небольшие, сантиметров десять на пятнадцать, очевидно, блокнот для записей, – соединены скрепкой, которая от времени проржавела настолько, что нам стоило большого труда отделить ее от бумаги, не повредив сами листы. Они плотно исписаны с двух сторон, и каждое

слово для нас имеет невероятную ценность, сам понимаешь. По моим прогнозам, расшифровать удастся меньше половины, бумага сохранилась не лучшим образом. Но самое ужасное (о чем, кстати, предупреждал Томаш, когда мы удаляли скрепку), мы умудрились перепутать все листы, а они без нумерации. Теперь предстоит долгая и кропотливая реконструкция. У меня было не так много времени для изучения, только беглый осмотр, пока лишь могу сказать, что все на идиш, за исключением одной страницы, она на польском, но именно она содержит важные данные касательно евреев, отправленных в газ в октябре сорок четвертого...»

Ноябрь, 1980

Из стенгазеты Лесного техникума города Бринке: «...наш ученик Леслав Дурщ. Эту уникальную находку он обнаружил во время раскорчевки местности недалеко от руин третьего крематория. Рукопись находилась в стеклянной колбе от термоса, закупоренной пластмассовой пробкой. По сравнению с предыдущими находками эта скромнее – всего тринадцать страниц, но ее нужно выделить особо, она написана не на польском или идиш, а на греческом языке! Несмотря на пробку, грунтовые воды все же сумели просочиться внутрь колбы, повредив листы, однако отдельные фразы поддаются расшифровке, и они поражают своим оптимизмом, силой веры и мужества этого греческого узника: "Каждый день задумываемся над тем, есть ли еще Бог, и, несмотря ни на что, я верю, что Он есть и что все, чего Он хочет, есть Его воля... Я не о том жалею, что умираю, а о том, что не смогу отомстить так, как я этого хочу и как могу". Остается только догадываться...»

Август, 1961

Из газетной заметки: «...бывший электрик, обслуживавший крематории Биркенау (Аушвиц II). Он сумел указать точное место одного из так называемых схронов зондеркоманды. Бумага, исписанная на идиш, отсырела и потемнела от времени, но музейный реставратор заверил, что больше пятидесяти процентов текста возможно восстановить. Расшифровка найденных записок ведется, но уже сейчас можно сказать, что эти триста сорок восемь листов являются бесценной находкой для истории. По свидетельству Порембского, таких схронов на территории крематориев не меньше сорока. В этом же тайнике найдены остатки человеческого пепла и перемолотых костей...»



Сколько же они насовали в тот пепел? Как было уследить? Чего они хотели? Чтобы мир услышал, чтобы мир узнал? Утописты-трупоносы. Вы не нужны были миру тогда и утомили его своим плачем сегодня. А впрочем, копайте, копайте, ройтесь в пепле памяти, дышите им, не только мне задышаться тем пеплом. Сомневаюсь, что вам нужна та правда, – половина ворошит эти останки, надеясь найти многострадальное еврейское золото. Ищите, ищите – не обрящете,

все отдано за пайку. Нет там ничего, кроме их плача на бумаге. Да разве он вам нужен? Он мне больше нужен, мне, тому, кто убивал. Я с ними буду плакать.

Помню грека одного, сокрушался, что не может отомстить за себя и за весь народ свой. Жалел об этом. А я все думал после, когда и грека того уже не стало: а если невозможность совершить то мщение была благостным проявлением Божественного вмешательства? Меня Он лишил подобной благости, не услышал, как я молил Его об этом: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных...» Он услышал лишь ваши молитвы, грек: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных. Оставь это тем, кого Ты не возлюбил, Господи...»

Май, 1985

– Дора-Дора-помидора!

Звонкий детский голосок располосовал больничную тишину. Кажется, это была девочка. Хохотнув, она продолжила кого-то дразнить:

– Дора-Дора-помидора...

Кто-то шикнул на нее, и она резко замолчала. Послышались удаляющиеся шаги.

– Дора-Дора-помидора, – тихо повторил хриплый старческий голос, помолчал, затем еще тише, словно пытался распробовать слова на вкус: – Дора-Дора-Миттельбау... – Совершенно никаких эмоций, высохший, мертвый голос. Мой голос.

Я с трудом повернул голову и уперся взглядом в стену. На ней висела современная карта Европы. Кто додумался? Черточки, деления, штрихи, границы, мне непонятные и тяжелые. Вот здесь, в центре Германии, недалеко от Веймара, я вижу красную точку – это Бухенвальд. Точно такая же точка рядом с Мюнхеном – Дахау. Мой Дахау. Взгляд пополз выше – Флоссенбург, ад в аду Дора-Миттельбау, наш последний главный лагерь, там, где были похоронены глубоко под землей еще дышавшие и работавшие, затем еще выше к Гамбургу – Нойенгамме и Берген-Бельзен – лицемерная патология в концлагерной системе, там, где не уничтожали

всех подряд, но хранили на продажу, на возможный обмен за наши никчемные жизни. Взгляд переместился в долину Рура – небольшой Нидерхаген, да, совсем небольшой, другое дело близ Берлина – Заксенхаузен, который я по привычке называю Ораниенбург. Тут же близко Равенсбрюк, приют слабых душ. Я перепрыгнул взглядом через нелепую границу в Австрию – и я уже в Маутхаузене с его филиалами, Гузеном и Эбензее. Теперь я в Чехии на берегу реки Огрже – здесь Терезиенштадт. Еще один прыжок во Францию – Нацвайлер, в Голландию – Герцогенбуш, в Югославию – Лойбл-Пасс. Еще одна невидимая граница, и я в Прибалтике – Кайзервальд, шикарный курорт, ставший транзитным адом в сорок третьем. Оттуда я направился на северо-восток, в поселок Вайвара, где лагерь вырос за несколько недель. Окидываю взглядом его проклятый спутник Клоогу. Ими проклятый. Ими, погибавшими там в нечеловеческих условиях на добыче сланца и торфа. Сколько их там, похороненных заживо в болотах? Захлебнувшихся, упокоенных в так необходимом нам торфе. На карте нет цифр. Вайвара, Вайвара – как имя звонкой прыткой девушки с толстыми косами, налитой, полнотелой, мягонькой, кровь с молоком. Но таких там не было, были изможденные существа, не мужчины и не женщины, что-то страшное, затаившееся на пути от женского к мужскому. Ползу взглядом обратно, ниже, по невидимому рейхскомиссариату Остланд. Там, в Каунасе, – третий прибалтийский узел смерти, вылупившийся из местного гетто.

Сланцевые рабы, болотные мученики. Я двигаюсь дальше, в Польшу, – Майданек на окраине Люблина, пропитавшийся кровью восемнадцати тысяч человек за один день. Восемнадцать тысяч за один день – кровавыми парами был напоен воздух всего Генерал-губернаторства¹. И раненые рыдали и выли под телами мертвых, и венский вальс разносился из громкоговорителя с ними в унисон. И стих последний аккорд с последним выстрелом, и уснул последний узник, и полился шнапс рекой. Одни спали вечным сном, а другие упивались, будучи давно пьяными от кровавых испарений, мутивших больной разум. В бреду я бреду дальше, в Штуттгоф под Данцигом – поставщик рабских рук для немецких поселений в Западной Пруссии. Далее Гросс-Розен, Плашов, трудовой поначалу, но также не избежавший всеобщей участи. Весной сорок четвертого и его обитатели переделались в концентрационные полосатые рабы и провалились в пучину террора. Мы успели. Успели и здесь устроить ад. Я двигаюсь в следующие его круги – лагеря Глобочника: Собибор, Треблинка, Бельзен и, наконец, он... Аушвиц, моя боль, мое проклятие... Я вижу не только главные лагеря, я вижу десятки их спутников. «Моя» карта испещрена точками, нет живого места на теле Европы. Ничего живого не осталось. Господи, почему никто из них не видит этих кровавых точек? Сними-

¹ 3 ноября 1943 года в концлагере Майданек прошла операция под кодовым названием «Праздник урожая» («Эрнтефест»). За один день было расстреляно 18 000 узников. Это была крупнейшая бойня за всю историю существования концентрационных лагерей. – *Здесь и далее прим. автора.*

те ее, проклятую...

Я медленно закрыл глаза.

Когда я открыл их снова, точек на карте не было. Они были у меня в голове. В моей памяти, которая никак не желала прогнуться под натиском старческого маразма. Как же я завидую старикам, жалующимся, что «память уже не та». Я помню. Я все помню. Память – самое тяжелое наказание, на какое можно обречь человека. И, вопреки всеобщему заблуждению, забыть, увы, гораздо сложнее, чем хранить в голове ясно и отчетливо. Кому-то страшно жить воспоминаниями, потому как это значит, что ты уже одной ногой в могиле, но много страшнее, когда твои воспоминания такие... Лай сторожевых собак и крики заключенных не дают мне спать. Я хочу спать. Господи, как же я хочу спать. Без снов.

Я повернул голову, на тумбочке лежала газета. На первой странице была статья, посвященная двадцатилетней годовщине окончания репарационных выплат Израилю. Покаянная, как и следовало ожидать.

Мне вдруг стало тяжело дышать. Воздух проходил в легкие мелкими порциями и не насыщал. Кажется, я захрипел. Нащупав на столике колокольчик, я попытался позвонить, но руки не слушались. Колокольчик выпал и укатился под кровать. В ту же минуту в палату вошла дежурная медсестра. Я посмотрел на нее долгим вымученным взглядом. Кажется, из новеньких. Раньше я ее не видел.

Очевидно, выглядел я отвратительно – она испуганно ки-

нулась ко мне и начала щупать пульс. Я с трудом вырвал руку и положил ее на тяжело вздымающуюся грудь. Она тут же приложила к моему лицу маску. Дыхание восстановилось, и я уже сам отнял маску.

– Новенькая?

Она кивнула, поправляя на мне одеяло.

– Как зовут?

– Ривка, – коротко ответила она.

Губы мои сами собой разъехались в улыбке.

– А что, Ривка, мы с вами окончательно расплатились?

Читала, во сколько сребреников вы оценили шесть миллионов своих?

На кой черт я назвал эту цифру, когда до сих пор не знаю, к какому количеству причастны мои руки? Да и как можно посчитать? Пытались, конечно. От Хёсса я слышал, помнится, предположение в три миллиона, но это до суда, а на суде в Варшаве он, конечно, был скромнее – миллион, хотя и деление на три его не спасло. Повесили. Русские утверждали, что четыре миллиона, в Нюрнберге – пять миллионов семьсот тысяч, евреи кричали о шести. Выходит, повторяю за евреями. Не впервой, с избранностью тоже плагиат вышел. Точно я знаю лишь одно число – выбитое на руке. С ним и буду умирать.

Ривка проигнорировала мой вопрос. Я продолжил:

– Ривка-еврейка, тебе в самом деле нравится ухаживать за стариком и подтирать за ним говно?

Мне до осточертения надоела эта палата. Я подозревал, что скорее сдохну здесь от скуки, нежели от язвы, никак не желавшей меня кончать, и я хватался за любую возможность развлечься, пусть даже таким низким способом.

– Ривка-еврейка, – повторил я, наслаждаясь едва сдерживаемым гневом девушки.

– Слушайте, – наконец не выдержала она, – я знаю, кто вы, меня предупреждали. Но вы, похоже, забылись.

Внутри у меня все заклокотало от глухого хохота, но наружу не пробился ни единый смешок, на что нужны были силы. Они знают, кто я! Да они и близко не подозревают, чем я занимался, иначе не лежал бы сейчас на попечении государства в замечательной, чистой больнице на западе Кёльна, а гнил бы в могиле, как остальные. А может, и могилы бы не удостоился, развеяли б прах по ветру.

– Ты говоришь, что знаешь, кто я, Ривка?

– Да, знаю, – кивнула девушка, – вы стоите на учете как бывший член СС. Вы все на виду, так что ведите себя прилично.

Если бы у меня достало сил, я бы все-таки расхохотался ей в лицо. Буквально пару лет назад я столкнулся с бывшим командиром подразделения СС, действовавшего на Восточном фронте. Он занимался карательными операциями. Иногда вместо расстрелов его подразделение заживо сжигало людей. И он приказывал делать это под музыку. Горит намертво заколоченный сарай, трещат старые, разохшиеся

доски, нервно пляшет грязное, чадящее пламя, и изнутри этого пекла раздаются вопли, полные муки, ужаса и нечеловеческой боли. И все это под звуки вальса из старого граммофона. Иногда командир смеялся в ответ на чью-то шутку, рассказанную тут же. Вот здесь впору добавить: нечеловеческий, мефистофельский смех, от которого кровь стыла в жилах. Но нет, смех был вполне себе человеческий, иногда прерываемый кашлем, вызванным едким дымом. Дело ведь в чем – то была не сцена из литературного произведения, то была реальность. Он действительно любил музыку, и она отвлекала его от происходящего, а сжигание экономило время – можно было оформить сразу большую партию, а заодно решался и вопрос последующей утилизации трупов. Потом, если мне не изменяет память, он проявил себя в подавлении Варшавского восстания, даже был награжден. Из заварухи выбрался легко – сумел скрыть свою принадлежность к СС благодаря поддельным документам, которые благоразумно подготовил заранее. После войны его страсть к музыке вновь проявилась, и он устроился в хор Ассоциации молодых христиан, с которым гастролировал по всей Европе. В старинных соборах они распевали религиозные гимны и немецкие народные песни, наслаждаясь рукоплесканием благодарных слушателей. Потом женился, а когда молодая жена забеременела, он, как ответственный глава семьи, задумался о более серьезной работе, которая должна была позволить ему достойно обеспечивать семью. К моменту нашей

встречи он возглавлял отдел кадров в солидной фармацевтической компании. За рюмкой коньяка признался, что ему нравится работать с людьми, он легко находит с ними общий язык и быстро понимает, кто для какой работы годится. За свой карьерный взлет он благодарил... свой прошлый опыт службы. Что ж, принципы, заложенные СС, оказались не так уж и плохи в обыденной жизни. Строгая дисциплина, четкая исполнительность, тяга к порядку – все это помогло ему выделиться среди коллег. И сколько еще таких? Сегодня, наверное, исчисление идет на сотни, но в первые месяцы только в Южной Америке затаились тысячи, сумевшие бежать крысиными тропами. Один я знал местонахождение как минимум пяти десятков, а дюжину из них сумел бы даже перечислить по именам и званиям. И она говорит, что все мы на виду. Да она даже не представляет, сколько нас сейчас раскидано по миру, неприкаянных, живущих воспоминаниями и не имеющих возможности вскинуть голову и осмотреться вокруг из страха встретиться глазами либо с преследователями, либо с выжившими. И то и другое – одинаково страшно. Господи, нас даже слепые узнают: я поверить не мог, когда услышал об Эйхмане². Говорят, его сдал незрячий еврей, пропущенный сквозь сито нацистских репрессий.

² Адольф Эйхман (1906–1962) – оберштурмбаннфюрер СС, глава отдела гестапо IV В-4, отвечавшего за «окончательное решение еврейского вопроса». После войны сумел бежать в Южную Америку, где агенты израильской разведки «Моссад» выследили его, похитили и вывезли в Израиль. На суде в Иерусалиме приговорен к высшей мере наказания, казнен через повешение.

Удивительно, даже слепое око начинает видеть, когда на кону отмщение и, кажется, еще десять тысяч американских долларов, обещанных в качестве награды. Кстати, странно, что разведка Израиля не сделала этого раньше, ведь Эйхман так «наследил», что – вот ирония – и слепой нашел бы. Его супруга даже не удосужилась поменять свое удостоверение личности в Буэнос-Айресе и продолжала щеголять фамилией мужа. Такую же фамилию они дали и своему четвертому сыну, родившемуся уже там. А вишенкой на торте стало интервью какому-то голландскому охотнику до сенсаций, которое в разное время выходило и в американской печати, и в аргентинской. Только совсем далекие люди не сумели бы углядеть личность анонимного рассказчика в этих статьях, а такого никак нельзя было сказать о тех, кто работал в израильской разведке. Правда в том, что Эйхман уже не скрывался. Он устал от этого. Как и все мы.

Я хорошо помнил нашу последнюю встречу, его потерянное лицо: «Я ведь пытался. И в Палестину их отправить пытался, и в Польшу строил для них целый мир, чем не компромисс? Но нет, им нужно было подтолкнуть нас к... к этому!»

По Эйхману выходило, что во всем были виноваты... они. Впрочем, ничего нового в человеческом сознании. Бюрократ до мозга костей, он сохранял каждую бумажку, имевшую какое-либо отношение к особым акциям, каждый приказ сверху он тщательно визировал и копировал. Поначалу я думал, что это предусмотрительность, но потом я понял: объясняя

очередной телеграммой от Мюллера³ или Кальтенбруннера⁴ всякое действие, он являл свое нутро почтальона. Вот кем были мы все. В этом даже было свое извращенное благо – иногда это дарило несколько дней жизни обреченным. Так, в июле сорок второго в пересыльном лагере в Дранси застряли четыре тысячи еврейских детей, которых отделили от родителей. Вряд ли Эйхман хотел подарить им дополнительные десять дней жизни, но именно столько заняло ожидание ответа из Берлина на запрос об этих детях. Он знал наверняка, каков будет ответ, но без бумажки не пошевелил и пальцем. Получив ее, он дал отмашку Даннекеру⁵ отправить детский транспорт в Аушвиц. А там... работники из голодных детей были, откровенно говоря, никакие...

Лишь в конце маниакальная тяга к порядку Эйхмана дрогнула и он позволил себе невероятное – проявить инициативу и отправить венгерских евреев пешим маршем в Австрию. Но тогда все мы уже были на взводе и совершали глупые поступки.

Но одно действие не было официально прописано на бумаге. Ни у Эйхмана, ни у кого бы то ни было еще. Массовое уничтожение евреев. Не существует ни одного документа,

³ Генрих Мюллер (1900–1945) – группенфюрер СС, начальник гестапо.

⁴ Эрнст Кальтенбруннер (1903–1946) – обергруппенфюрер СС, начальник Главного управления имперской безопасности СС.

⁵ Теодор Даннекер (1913–1945) – гауптштурмфюрер СС, сотрудник отдела Адольфа Эйхмана, специалист по осуществлению нацистской антиеврейской политики.

где это приказывалось бы прямо, без обвиняков. Что касается остального, то можно было не сомневаться – на любое распоряжение Эйхмана в его личном архиве нашелся бы приказ за подписью его начальников, санкционирующий это распоряжение. Все мы тогда послушно следовали приказам, в том мы видели свое назначение, а позже и оправдание. Что бы нам ни приказали, толковать было запрещено, задумываться и переспрашивать – запрещено, обосновывать – запрещено, можно было лишь выполнять. Ослушание приказа во время войны – трибунал. «Солдаты во все времена закованы в броню присяги. Так было всегда. Тут ничего не попишешь». Так мы все повторяли словно заведенные. Такую же линию гнул на суде и Эйхман. «Разумеется, повиновался. Я повиновался приказам, которые я получал, я повиновался, да. Присяга есть присяга. Я ей слепо следовал. Я бездумно следовал присяге», – раз за разом повторял Эйхман, будто перед ним сидел человек, слабый умом, которому нужно растолковывать все простейшими предложениями по нескольку раз. «Я не подлежу никакой ответственности, потому что присяга, которую я принял, обязывала меня к верности и послушанию. Мне приказал высший руководитель! Я находился в положении подчиненного и был обязан исполнять приказ. Это же ясно». Но в том зале суда это было ясно только ему одному.

Конечно, попытка прикрыться приказом у Эйхмана с треском провалилась. А впрочем, попытка не пытка,

как говорится. Пытка была у других.

Но с другой стороны, я вспоминаю потуги Эйхмана еще в самом начале реализовать безумные проекты по переселению евреев в Палестину, на Мадагаскар, в район реки Сан в Польше, вспоминаю его отчаяние, когда одна за другой эти попытки терпели крах, и начинаю думать: может, действительно все так – по сути своей никто из нас не был юдофобом, лишь чертов приказ... Но эту мысль опасно завершать. Так, чего доброго, можно дойти и до самооправдания. Надо заставлять себя помнить: Эйхман уверовал в то, что эти акции истребления действительно необходимы, что они – залог безопасности немецкого народа в будущем. Истинно уверовал в то, что поступает единственно верно. Уверовал... по приказу. Именно так, он был одержим своей миссией по приказу, как бы нелепо это ни звучало. Равно как и все мы.

Интересно, видел ли я когда-нибудь того слепыша, сдавшего Эйхмана? Вполне возможно. Сколько их было, разве упомнишь. Бесчисленное множество обреченных и будущих калек просочились сквозь мою жизнь, как бесплотные тени. Или это я бесплотной тенью мелькнул в их жизнях? Помнят ли меня выжившие? Не просто собирательно, как некоего злого нациста, поступавшего в их понимании плохо, но меня как личность? Впрочем, с памятью у них все хорошо. И они отчаянно хотят, чтобы и весь остальной мир помнил. А если забыл, то вспомнил и еще раз устыдился то-

го, что попустил. Такова была цель той показательной судебной постановки с Эйхманом в Израиле, собравшей аншлаг. Претензии понятны – мир, который кричал в первые годы, что «никогда не забудет», забыл очень быстро. Он просто хотел двигаться дальше, не испытывая ни малейшего желания продолжать копаться во всем этом в поисках уже никому не нужной истины. Первыми это прочувствовали книгоиздатели, сделавшие в свое время хорошую выручку на публикациях пронзительных мемуаров «выживших» и «прошедших сквозь горнило ада». Они громко жаловались на падение тиражей, на растущее безразличие и отсутствие всякого читательского интереса ныне, и то была правда, потому как тема перестала вызывать хоть какие-то эмоции. Сострадание стало дежурным, ибо наелись, пресытились и для умов сам факт произошедшего стал обыденностью. Хотя что говорить о мире, когда даже те, кто победно вошел в Германию и лично столкнулся с прозрачными существами без пола и без имени, вышедшими им навстречу из лагерей, быстро позабыли. Поначалу с их стороны не было никакого сочувствия ни к маленьким голодным оборванным Гансам, попрошайничавшим на улицах, ни к замерзавшим исхудавшим Лизхен и Гретхен, которых испуганные матери подталкивали в сторону солдат-победителей, ни к побивавшимся старикам, потерявшим в той страшной войне детей-кормильцев, – они охотно соглашались с коллективной ответственностью всего немецкого народа за эти ужасы. И долго так было:

аж целых сколько-то дней. А потом оккупационные штабы завалили заявления от английских и американских солдат с просьбами разрешить вступить в брак с немками. Только в английской зоне их было без малого четыре тысячи. Помнить стало неудобно обеим сторонам.

Жаль, что мне не забыть об этом, в отличие от них, кричавших «никогда не забудем». Хотел бы, отчаянно жаждал, но не способен. Я, как евреи, не забываю. А евреям нужно отдать должное. Virtuозы. Все свели исключительно к себе. В лагерях сгинули коммунисты, социалисты, гомосексуалисты, политически неблагонадежные, цыгане, поляки, русские, черт, да кто там только не сгинул, долгое время евреи даже не составляли большинства среди заключенных. Но останови сейчас любого на улице и скажи ему «концлагерь», он в ответ бросит «евреи». Эта короткая ассоциативная цепочка прочно обвила людское сознание. В массовом восприятии общий геноцид, о котором говорилось в Нюрнберге, постепенно истаял до одного лишь холокоста. В Нюрнберге они были *одними из*, но позже затмили собой других напрочь, всё замкнули на себе и прочно заняли нишу мученичества, не позволяя кому-либо еще претендовать на нее. Сцена страданий стала принадлежать лишь им.

И вся суть того периода свелась лишь к одному горькому пониманию – мы верили, трудились и закладывали свои души лишь для того, чтобы впоследствии отчаянно разочароваться. Сейчас любое воспоминание тех вымороченных,

безнадежных лет вызывает во мне не гордость, в которой я тогда пребывал, но болезненные ощущения. «Вымороченные, безнадежные годы» – как страшно говорить так о своей молодости, надеждах и истовой вере, о том, что тогда казалось поворотным моментом истории, пиком всего человеческого существования и свершением чего-то грандиозного. Еще страшнее... не признать этого. Есть и такие, кто не способен сделать этого до сих пор, как и тогда находились такие, кто еще на заре происходившего осознал, что нация не воспаряет, но летит в пропасть. Да, были примерившие на себя роль непрощенной совести, насмежавшиеся над триумфом, который все мы интуитивно предчувствовали. Я ненавидел их тогда. Я ненавидел собственного отца. Я был прилежным, педантичным и верным исполнителем, что вызывало у него лишь насмешку. «Покорность, возведенная в ранг добродетели, – суть и основа диктаторского государства, которое всех нас погубит» – кажется, так он тогда сказал мне. Но по сути своей я не был убийцей, я не был жестоким чудовищем, и, что самое главное, я не был глупым человеком. Каждое мое действие было осознанно и определялось исключительно верой в его необходимость, оно определялось истинной любовью к своей стране. Я верил в нужность этой тотальной войны на всех фронтах, и на нашем внутреннем лагерьном в том числе, со всей искренностью, на которую только был способен, а потому все, что я делал, я делал с чистой совестью. За идеи, которым был предан, я готов был рабо-

тать без устали, не жалея себя, потому что у меня были идеалы, видит бог! Ради них я готов был пожертвовать собственной жизнью без раздумий. А вместо этого жертвовал чужими жизнями. Также, впрочем, без раздумий. Но это не шло вразрез с законом, ибо закон сказал вначале: «Можно». А затем: «Нужно!» Тем самым превратив нынешних патриотов и законопослушных граждан в будущих преступников. Необходимо понимать, что новое клеймо прилепили новые обстоятельства, понимаете? То, что считалось законом, потом стало злодеянием. Так сложилось. Вот и все. Мне просто чертовски не повезло – я родился не в том месте не в то время. Кстати, я не один в своем убеждении касательно невезения. «Гражданину, у которого хорошее правительство, повезло, гражданину, у которого правительство плохое, не повезло. Мне удача не сопутствовала» – так говорил на суде и Эйхман. Что ж, не раскаялся, но хотя бы пожалел.

Черт бы побрал эту немощь, даже усмехнуться больно. Без ложной скромности скажу, я был талантлив, да, определенно талантлив, сообразителен, исполнитель, энергичен, я обладал всеми качествами, чтобы сделать блестящую карьеру. И что же? Все это было бездарно сожрано реалиями времени и места и похоронено под толстым слоем мирового осуждения и презрения. Да, не повезло. Говорил уже? Возраст, ничего не попишешь. Я думал, что рожден для того, чтобы построить мир, в котором хочется жить и любить, заложить фундамент безбрежного счастья для своих

детей, а вместо этого стал архитектором могильника, с которого кровь стекала потоками. Разрушенные и горящие дома, вспаханые поля, разлагающиеся трупы, люди, потерявшие веру во все, живущие ожиданием скорой и неизбежной смерти, – вот мои достижения. Если уж на то пошло – будь моя воля, я бы никогда не родился. Но нет на такое воли нашей, без спросу выплевывают в эту жизнь. Нашей воли ни на что, собственно, не было, ни на жизнь, ни тем более на смерть. И я говорю не только о выборе, умирать ли, но и о выборе, убивать или нет. Это много страшнее собственной смерти. Когда ты не убийца по сути своей, но руки твои по локоть в крови. Ведь с этим надо жить. Хоть бы и по приказу. Только оглянувшись назад, можно увидеть, где свернул не туда. Ведь дело в том, что тогда история еще не рассудила, а творилась. Момент тонкий. Это для вас Гитлер теперь как некая историческая абстракция, сгусток абсолютного зла, понятного лишь по прошествии десятилетий. Для нас он был реальным человеком, нашим избранным правителем, способным одним лишь словом вознести или уничтожить – действительным образом влиять на наши жизни здесь и сейчас, понимаете? Сложно все проанализировать и понять «во время», а не «спустя». Такой пронизательностью немногие могут похвастаться, а ведь к этой пронизательности необходима еще и какая-никакая смелость. Впрочем, это проблема всех времен, даже тех, когда существует видимость выбора.

Но снова подчеркиваю, что это не попытка оправдаться, я не на суде, и надо мной не висит карательный меч, от которого надо увертываться. Напротив, я в теплой и чистой койке, и за мной заботливо ухаживают, так что есть время поразмыслить: действительно, какого черта я исполнял те приказы, преступные по своей сути? Почему только теперь понял, что они нарушали все законы человеческого бытия? Ломали всякую нормальность того, что мы называем цивилизацией? Почему только время и итоги способны развеять наши заблуждения, что то был триумф, а не время попустительства и слепоты? Но я продолжаю рассуждать дальше: да, на своем уровне я подчинился приказу, уровнем выше тоже были приказы, но если дойти до вершины этой страшной пирамиды, то там будет лишь... пустота. Теперь уже нам известно, что *он* сознательно никогда не давал четких приказов уничтожать *столько и так*. *Он* лишь рисовал картину идеального в *его* понимании мира, а свита кидалась претворять ту картину в жизнь способами... разными способами, разнообразными их возможностям и фантазии. И поскольку та картина идеального мира отменяла существование миллионов людей, то эти способы были страшными. *Он* обсуждал цели, но от их реализации абстрагировался, заставив свою свиту осознать, что залог успеха не только в выполнении приказов, но и в их предвосхищении. А потому это зло растекалось от всех них... нас, с самого верха до самого низа, оно было общим, от каждого по вкладу согласно должности и чину,

что вместе явило миру нечто невероятное в своей ужасности и огромности. Оно не могло быть плодом мысли и действий лишь одного человека. Либо не человека вовсе, а истинного дьявола во плоти. Но, узрев, весь мир вздрогнул, ошибочно судив, что все это идет от него и только от него, и наделил его поистине дьявольской личиной и мифологизировал, табуировав даже имя его. Но он был настолько обычен, мелок, малодушен и труслив, что боялся даже произнести вслух то, что претворилось в жизнь от его имени, но нашими силами – силами обыкновенных людей, которые не были ни злыми по своей сущности, ни тем более убийцами. Не погрешу, если скажу, что он и не знал тонкостей, что да как там происходило в тех душевых. Понимаете? Не он сыпал гранулы в трубу, не он закрывал заслонку, его там никогда и не было. Это делали те, кто уверовал в то, что правда за ним. Человек убивал человека по слову другого человека – вот что в сухом схематичном остатке. Как и всегда, на протяжении истории всего того человека. И оттого тошно, что схема-то немудреная, а видишь, попался на нее, как болван необразованный. А ведь был неглуп, да, совсем неглуп. Но попался, черт бы побрал, попался! Как и тысячу лет до того человек попадался.

Как же горько осознавать, что моя жизнь пошла под откос, потому что я уверовал в обычного провокатора, сумевшего прорваться наверх. В этом суть зла – оно до тошноты обыденное, трусливое, сонное и ленивое. Нужно признать,

что в Нюрнберге на скамье подсудимых мир ожидал увидеть высокорослых светловолосых монстров, с кровью в глазах, в которых навсегда застыло надменное господское выражение, со сжатыми кулаками, с набухшими жилами, возможно, даже с пеной у рта, страшных, психически больных людей, извращенцев с явной садистской патологией. Вместо этого мир увидел самых обыкновенных людей, со своими проблемами, страхами и недомоганиями, с расстроенным стулом, неприятным запахом изо рта, плохим зрением и выпадающими от нервов волосами, стареющих, с незаладившейся карьерой, не представляющих, что их ждет, и от этого еще активнее портящих воздух. И у половины из них были степени докторов, полученные в лучших и старейших университетах Европы. В конечном итоге люди увидели таких же, как они сами. И вот эти-то обыкновенность и посредственность делали ситуацию еще страшнее. Ведь если они такие же, как и все, то не способны ли и все на то, что делали они, в соответствующих обстоятельствах? Задавайте себе этот вопрос почаще. Ведь беда в том, что ни одна кара, ни одно решение какого-то суда никогда не обретут абсолютную сдерживающую силу, необходимую для предотвращения злодеяния, уже когда-либо случившегося на этой земле. Все, что разум человеческий уже претворял в жизнь, может повториться, каким бы ужасным это ни было и сколько бы от того ни зарекались. Такова натура человека. И, несмотря на все нелепые потуги Гиммлера, страдавшего тягой к мистицизму

му и недугом «великой избранности», в СС не было ничего inferнального. Вопреки общему восприятию, массовое уничтожение не было каким-то страшным судом над неугодными. Все было до тошнотворности буднично и регулировалось исключительно с практической точки зрения. Мы пришли к тому, что всего лишь решали вопросы экономического и социального характера, возможно, еще земельного, что, правда, можно отнести к экономическому сектору. Не более. Закупки сотен килограммов «Циклона Б»⁶ шли в накладных рядом с канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. Истребление целого народа стало делом рутинным и, пожалуй, само собой разумеющимся. Никто не осознавал, что поступает неправильно, потому что все происходящее стало новой обыденностью. Нормой, если угодно. И неудобный факт таков: самые ужасные преступления в истории человечества на счету не кровавых маньяков и умалишенных убийц, а простых интеллигентных людей, получивших достойные по меркам своего времени воспитание и образование. Не демоны, не вампиры, не людоеды, не ведьмы и даже не психически больные, увы. Самые обычные люди, жившие по перевернутым понятиям: мы не уничтожали, не истребляли, не воевали – но проводили «чистки», «особые акции», «умиротворение недовольных», «борьбу с партизанами», «реализовывали свое природное право на Востоке»,

⁶ «Циклон Б» – пестицид на основе цианида, использовался для массового уничтожения людей в газовых камерах немецких лагерей смерти.

действовали в рамках «особого режима», по «особому приказу», «решали еврейский вопрос». Такая подмена понятий помогала верить, что наш образ мыслей и наши действия по-прежнему соответствуют всем нормам права. Так же как и везде, от нас требовали высоких показателей, и мы их давали, полагая, что труд всякий бывает. А потом цифры, факты, методы, весь масштаб содеянного тобою вскрывают, словно гнойный нарыв, смердящий за многие километры. И только тогда все осознаешь. Но с убийственной четкостью осознаешь лишь итоги, не умея понять и объяснить причины или хоть немного приблизиться к их логическому обоснованию.

Были хотя бы единичные проблески в нашем сознании? Очевидно, что-то было. Я помню доктора Зиверса, секретаря «Аненербе» – общества, изучавшего древнюю германскую историю, он подбирал в Аушвице для профессора Августа Хирта заключенных, которым предстояло стать частью анатомической коллекции в институте в Страсбурге. Изучив черепа этих заключенных, профессор Хирт должен был дать детальную характеристику «еврейско-большевистским человекоподобным существам» и подготовить материал для школьных пособий. Та идея была горячо поддержана самим Гиммлером, а потому я тогда помогал Зиверсу в организации транспорта. Мне прислали подробные указания по транспортировке: голова заключенного не должна была ни в коем случае быть повреждена, ее следовало аккуратно

отделить и прислать в специальном жестяном ящике, заполненном жидкостью, исключаяющей процессы гниения. Каждый образец должна была сопровождать подробная анкета, содержащая данные о месте и времени сбора материала, антропометрические данные, дату рождения и все прочее, что можно было установить, а также, по возможности, предварительно сделанные снимки. К счастью, я тогда отвлекся на исполнение другого распоряжения и не успел отправить эти инструкции в Аушвиц, так как спустя несколько дней Зиверс сообщил мне, что профессор Хирт передумал насчет транспортировки, теперь он хотел, чтобы большую часть пути материал преодолел «в первоначальном виде». Признаться, я тогда несколько растерялся, не понимая, что имелось в виду. «Живыми, – уточнил Зиверс, видя мое замешательство, – привезем их в Нацвайлер, а там уже заспиртуем и расфасуем под личным руководством профессора». В итоге сто пятнадцать человек – семьдесят девять евреев, тридцать евреек, два поляка и четыре среднеазиата, каждый с подробной спецификацией, – отправились в лагерь Нацвайлер, что недалеко от Страсбурга, «в первоначальном виде». Так вот, уже уходя, Зиверс сказал мне словно между делом, но сейчас понимаю, что это было главное: «Они еще где-то ходят, дышат, а для них уже подготовлены застекленные тумбы и таблички с описанием костей. Черт бы меня побрал, если это когда-нибудь уложится в голове...» И он повел своими заливчатскими усами, гордо топорщившими-

ся в стороны, подкрученными и густо сдобренными блестящим воском, который позволял им весь день держать свою смехотворную форму. На процессе в Нюрнберге эти усы уже, конечно, не выглядели столь роскошно. Тогда британский обвинитель Джонс изрядно попотел, пытаясь взять Зиверса за эти самые усы и за жабры заодно, но тот, словно угорь, ловко ускользал от всех неудобных вопросов, ссылаясь на плохую память и невозможность восстановить детали дела. Он с тупым упрямством доказывал, что не помнит о важных мероприятиях военного периода, одновременно с легкостью вспоминая незначительные события, случившиеся до войны. Тем самым он выдавал себя с потрохами, но, в общем-то, это была единственно верная линия защиты для тех, кто еще питал какие-то надежды в Нюрнберге. С проклятой отчетливостью осознав, что натворили, все с яростью кинулись искать формальные оправдания, чтобы не получить приговор от мира и в первую очередь не вынести его самим себе.

И тут у угрей, сидевших на скамьях Нюрнберга, проявилась еще одна любопытная черта – менять свою значимость в зависимости от обстоятельств. Вначале все стремились перещеголять друг друга в цифрах, после – в их преуменьшении. Насколько важными и влиятельными персонажами все желали казаться прежде, настолько громко кричали о преувеличении собственной роли в залах суда. Так и Зиверс: «Я лишь передавал приказы и распоряжения дальше, пере-

сылал отчеты, не вдаваясь в подробности. Я не мог иметь своего мнения в этом вопросе. Я не имел никакого отношения к непосредственному убийству тех людей. Я выполнял роль почтальона. Я уже не помню...» А между тем штандартенфюрер СС Вольфрам Зиверс был единственным человеком, который каким-то непостижимым образом умудрился пережить глобальную чистку «Аненербе» в тридцать седьмом, когда полетели головы всех, вплоть до руководителя общества доктора Германа Феликса Вирта. Зиверс же не только сохранил свою должность, но и пошел в гору. Гиммлер лично поручил ему создать и возглавить при «Аненербе» Институт военных исследований, который должен был взять на себя создание всей технической и хозяйственной базы, необходимой для исследовательских лабораторий в концлагерях. Я готов дать руку на отсечение, что Зиверс до самой последней минуты своей никчемной жизни помнил все детали, даже самые незначительные. Хотел бы забыть, но не мог. Как и все мы. Как и все, он пытался убедить обвинителей, что был лишь частью механизма, выполняя какую-то роль пересыльного, снабженца, производителя, доставщика, роль, которая ничего не значила, и, откажись он ее выполнять, ничего бы не изменилось. «Всего лишь звание, всего лишь должность, никакой реальной власти, я лишь винтик... Я лишь перевез тела... Я лишь доставил печи... Я лишь произвел синильную кислоту... Я лишь сконструировал

ровал газваген...⁷ Я лишь предоставил помещение...» Понимаете, роль была у всех, к слову, не только у немцев, но каждый утверждал, что именно он не нес конечной ответственности, поскольку и без его вклада случилось бы то, что случилось. «Я лишь сопровождал поезд до польской границы, а там уже транспорт переходил в немецкие руки. Что они с ними делали далее, не ведаю...» – так говорил словацкий солдат Глинковой гвардии, тоже винтик без персональной ответственности, не забывший, правда, по пути до этой границы отобрать у евреев все самое ценное. Тот самый, который, по воспоминаниям одной словацкой еврейки, испражнялся на пол, а потом заставлял их убирать это голыми руками, приговаривая: «Мы научим вас, еврейских шлюх, работать».

Вершиной этого «я лишь» были слова Эйхмана на собственном процессе касательно той самой конференции в Ванзее⁸ в январе сорок второго, запустившей историю на-

⁷ Газваген (нем. Gaswagen, «газовый автомобиль»), также использовали термин «душегубка», – мобильные газовые камеры, применявшиеся нацистами в период Второй мировой войны для массового уничтожения людей путем отравления угарным или выхлопным газом.

⁸ Ванзейская конференция – совещание представителей правительства и руководителей нацистской партии 20 января 1942 года на озере Ванзее в Берлине. На нем итоги первоначальной политики вынуждения евреев к эмиграции были объявлены неудовлетворительными – большинство стран отказались принимать у себя еврейских беженцев, у которых не было средств для переезда. Тогда было предложено новое «окончательное решение еврейского вопроса» – «выселение на восток». За этими словами скрывалось планомерное истребление евре-

шей нации в обратном направлении. «Я молча сидел там со стенографисткой в углу, и никто о нас не побеспокоился, никто. Мы были слишком маленькими людьми». Великий архитектор механизма «окончательного решения», один из главных нацистских преступников приравнял себя к стенографистке. Я бы рассмеялся, если б не чертова боль в груди.

А как вам интервью бывшего начальника одной из канцелярий Рейхсбана⁹ на востоке в нашумевшем документальном фильме?¹⁰ Он занимался планированием железнодорожных маршрутов. Железные дороги Восточного фронта в разгар войны – знаете, что это значит? Он был вершителем сотен тысяч судеб. Своего рода царь на местах. Мощный винтик механизма, скажу я вам. Такой винтик не мог не знать. Но он настаивал: «Я всего лишь занимался координацией движения поездов. Были среди них и специальные, да, но я

ев в концлагерях на территории Польши. Спустя 11 дней Адольф Эйхман разослал командному составу полиции и руководителям СД указания к подготовке депортации евреев Германии, Австрии и Чехии. Именно эту конференцию многие исследователи считают поворотным моментом в геноциде еврейского населения Европы.

⁹ Рейхсбан (нем. Deutsche Reichsbahn) – железнодорожная организация. После Первой мировой войны объединяла все железные дороги государств, ранее входивших в состав Германской империи. В 1949 году прежнее название Deutsche Reichsbahn сохранилось лишь на территории ГДР, в ФРГ же была создана Deutsche Bundesbahn.

¹⁰ «Шоа» (1985) – фильм режиссера Клода Ланцмана о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях.

понятия не имел, кто в них. Моей задачей было скоординировать их путь из точки А в точку Б. Откуда мне было знать, что точка А – это дом, из которого их увезли насильно, а Б – лагерь, в котором их ждет газовая камера? Я был всего лишь простым чиновником в департаменте по планированию маршрутов. Шла война, понимаете, а после, когда все раскрылось, это стало для меня полнейшей неожиданностью, я не имел ни малейшего...» Ни малейшего, понимаете? Каждый день он переводил стрелки на своей подотчетной железной дороге в сторону лагеря, отправляя туда тысячи узников, каждый день с осознанием того, что происходит, с осознанием того, что он непосредственно причастен к этому, упокой, господи, идиота. Ему тоже пришлось нелегко, еще один калека нашего восхождения. Как он сказал, «специальные»? А другие их называли «поезда смерти» – те, другие, кто ехал в них. Но в одном тот царек, быстро отрекшийся от своего железнодорожного престола, был прав – ему пришлось складывать путевой пазл из всех поездов, и из обычных пассажирских, и из «специальных». Всеми ведала самая обычная транспортная компания – «Центральноевропейское трансAGENTСТВО» – та самая, в которой мы с тетей Ильзой покупали билеты на отдых в Бад-Хомбург. Кто-то в лагеря смерти, а кто-то на лечебные курорты, и все через одно АГЕНТСТВО. Цинично? Удобно. Что ж, железнодорожный царек выкрутился, переведя стрелки. Сила профессиональной привычки, если позволите такой каламбур. На вопрос

«А кто знал?» его стрелка указала на Эйхмана. Но тому, в принципе, должно было быть все равно – стрелкой больше, стрелкой меньше, когда на тебя устремлены копыя всего послевоенного мира. Отчаянно отбиваясь от них на собственном процессе, Эйхман тоже заверял, что не отдавал ни приказаний, ни распоряжений, не указывал, кого гнать в газ, а кого расстреливать. «С этим я никогда, никогда, никогда, никогда дела не имел», – заверил он суд. И ведь не соврал: затворку в душевую он «никогда, никогда, никогда» не открывал, «Циклон» не закидывал, это верно. Просто усердно гнал эшелон за эшелонем со всей Европы. А потом, спустя годы, заявил в глаза дознавателю Авнеру Лессу, чей отец, фронтовик Первой мировой, кавалер ордена Железного креста, был умерщвлен в газовой камере Аушвица: «Мы же с этим не имели никакого дела, совершенно никакого. Мы не имели с этим никакого дела», – будто Лесс не понимал с первого раза, – «нисколько, нисколько, нисколько... Это же ужасно, что там делалось... Как же можно вот так просто палить в женщин и детей? Как это возможно? Ведь нельзя же... Я был сыт по горло таким заданием! Доложил группенфюреру Мюллеру: это не решение еврейского вопроса... Пожалуйста, не посылайте меня туда. Пошлите кого-нибудь другого, кто покрепче. Ведь хватает других, кто может на это смотреть, кто не свалится в обморок. А я не могу такое видеть, я ночью не сплю...»

Тут Эйхман не врал, таких действительно хватало,

кто не валился в обморок. Я, например. Даже в свой первый раз. Стоял и смотрел, борясь с дурнотой, подкатившей к горлу, а позже и того не было. Были мысли исключительно об отчете, который мне предстояло подготовить. Возможности своего вестибулярного аппарата Эйхман тоже, конечно, принизил. Он был крепким парнем. Лживым, как оказалось, но крепким. «Заказ ста килограммов синильной кислоты – никакого, никакого понятия не имею! Я не знаю об этом, не знаю!» «Может, Гюнтер заказал?» – услужливо подсказывали бывшему оберштурмбаннфюреру на процессе. И он, как ребенок, радостно хватался за эту соломинку. Конечно же, это Рольф Гюнтер, его сотрудник, заказал почти центнер яда у главного гигиениста рейха доктора Герштейна, руководителя технической службы дезинфекции в Главном управлении СС. Но дело в том, что Гюнтер без ведома Эйхмана и опорожниться не смел, не то чтоб по собственной инициативе заказать такое количество яда. В принципе, не мне осуждать Эйхмана: он пытался спасти свою шкуру, но как-то слишком уж нелепо у него выходило. Неужели у него была хоть капля надежды на то, что он выберется из этой передрыги живым? Что евреи дадут ему и дальше дышать тем же воздухом, что и они? Дурак. Шансов на том представлении у него не было: все свидетели защиты – немцы были исключены, ведь, ступи кто-то из них на землю обетованную, их бы тут же арестовали и судили вместе с Эйхманом. Большинство свидетелей обвинения были евреи из Из-

раиля, и тут был элемент шоу, ведь всех их отбирали по заявкам, которых были сотни. Каждый жаждал личного триумфа справедливости над «исчадием ада». Но где они его искали? В суде? Серьезно? Если я что и понял наверняка в своей бесцельно прожитой жизни, так это то, что суд человеческий – гнилое заведение, не дай вам бог попасть туда, потому как правосудие – это последнее, что влияет на приговор в этой конторе, и это одинаково погано как для подсудимого, так и для остальных сопричастных, им же потом с этим жить. Я знаю, что говорю. Но продолжим: еще пятьдесят три человека приехали на суд из Польши и Литвы, я специально это подчеркиваю, ведь именно там Эйхман фактически не имел никаких полномочий. Что могли рассказать те пятьдесят три человека? О своей боли, ужасе пережитых страданий? Безусловно. О непосредственной вине Эйхмана? Уверен, половина из них даже не знала о нем в то время, когда все происходило. Им нужно было выплеснуть свою боль, и не важно, кто сидел на скамье подсудимых: Эйхман ли, Гиммлер, Хёсс, Гитлер... я. Им нужно было еще раз проговорить это: нельзя было переживать молча то, что с ними случилось. Я молчал – ничего хорошего из этого не вышло. Надеюсь, ни у кого не повернулся язык укорить их в показаниях, совершенно не относящихся к делу. У них было право на тот грандиозный сеанс психотерапии. И это самое большее, что мог дать им тот суд. В конце концов, не думает же кто-то, что хоть один из них мог удовлетвориться смертной

казнью подсудимого? Уверен, что ни один не почувствовал себя отомщенным. Переиграть Эйхмана в сфере наказания человека человеком невозможно. Уж простите. Да и в целом затея тухлая. Даже если бы тот суд бесстрастно решал вопрос исключительно в правовом поле, без эмоциональных составляющих, вопрос Эйхмана выходил далеко за его пределы. Он сдерживался лишь границами сознания тех, кого он загнал в эшелоны, шедшие в лагеря смерти. Желали ли они просто вздернуть его – вопрос.

Увы, Эйхман тоже был обыкновенным. Маленький человек, карьерист-неудачник. Не редкость среди нас. И как враг он был не опасен, и как друг бесполезен. Говоря об убийстве в классическом понимании, он действительно не лукавил – лично он никого не убивал, думаю, ему бы не хватило духа собственноручно лишить человека жизни. Я познакомился с ним в Дахау, где он служил в австрийском полку. В тот период он изнывал от однообразия службы. Его предприимчивую натуру раздражало каждодневное ползание по-пластунски, и он жаждал стать частью чего-то нового и перспективного. Узнав его лучше, я понял, что в этом и была суть его натуры – он постоянно вступал в какие-то общества и организации, в детстве это было Общество христианской молодежи, затем движение юных туристов «Перелетная птица», позже каким-то образом нарисовалось молодежное отделение Германо-австрийского объединения фронтовиков. Когда на горизонте замаячили СС, Эйхман был уже одной но-

гой в масонской ложе «Шлараффия», как гордо именовала себя группа бездельников, собиравшаяся ради хорошего вина и юмористических выступлений. СС стали для него лишь одними из. В конце концов, почему бы и нет, если с масонами не задалось? В этом был весь он – вступал не по убеждениям, а потому, что надо было быть частью какого-то движения, потока, который рано или поздно куда-нибудь да вынесет, и желательно на сытые и благополучные берега. И, собственно, таких было большинство, и именно из таких получались самые надежные и исполнительные наци. Он постоянно говорил о будущем, строил планы, его деятельный мозг не знал покоя, впрочем, как не знал и партийной программы НСДАП¹¹. Это выяснилось совершенно случайно в разговоре, тогда он пожал плечами и сказал, что позже изучит. Не уверен, что он в итоге сделал это. Как это ни парадоксально, но на заре нашей дружбы он не был хоть сколько-нибудь одержим антисемитизмом. Основными мотивами его поступков были банальный карьеризм и здоровое служебное рвение. Как любой рядовой бюргер с типичным воспитанием и без преступных наклонностей, он не испытывал какого-то явного наслаждения от осознания власти над жизнью и смертью. Тот, кого мир назовет одним из главных архитек-

¹¹ НСДАП (от нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP) – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Существовала в Германии с 1920 по 1945 год. С 1921 года ее бессменным лидером был Адольф Гитлер. На Нюрнбергском процессе объявлена преступной, а ее идеология была признана одной из главных причин войны.

торов смерти, стал им исключительно под влиянием условий, в которые поместили не только его одного, но весь Германский рейх. И лишь случай решил, что в этих условиях именно ему пришлось оказаться на слуху. Если бы Гитлер так же люто возненавидел, к примеру, протестантов и гневно указал своим перстом на них, то история содрогалась бы от имени штурмбаннфюрера Эриха Рота, ведавшего в РСХА¹² делами католиков и протестантов соответственно. Но был избран народ избранный, а значит, и Эйхман, возглавлявший еврейский отдел IV В-4. Еще большей значимости ему придал Нюрнбергский процесс, на котором его... не было. Воспользовавшись этим, большинство обвиняемых постарались переложить именно на него всю ответственность, он же ничего не отрицал по банальной причине отсутствия. Тогда и появились первые эпитеты, придавшие «неуловимому» Эйхману ореол демоничности: «архитектор смерти», «дьявол во плоти, ответственный за отправку на смерть миллионов» и прочие, которые с радостью подхватила охочая до подобной дешевой крикливости пресса. Что ж, как бы иронично это ни звучало, тут Эйхман наконец-то получил свою порцию славы, которая ранее всегда проходила мимо него, недооцененного сверху и воспринимаемого мелким чином на местах, из-за чего он

¹² РСХА (от нем. Reichssicherheitshauptamt – RSHA) – Главное управление имперской безопасности, руководящий орган политической разведки и полиции безопасности Третьего рейха.

чрезвычайно страдал. Впрочем, новые обстоятельства, в которые его опрокинула жизнь, заставили Эйхмана с легкостью отказаться от той славы: «Это не я» – квинтэссенция всего допроса Эйхмана. «Я получил приказ от группенфюрера Мюллера». Мюллер от Гейдриха¹³, Гейдрих от Гиммлера, Гиммлер – намек от Гитлера. Кто виноват? Очевидно, все. Никакой персонификации – это и пытался доказать Эйхман в суде, это же делала и вся послевоенная Германия. Он действительно не отдавал приказа уничтожить тех, кто попал в его эшелоны, – ему попросту не надо было этого делать. Машина исправно работала и без его слов. Механизм был запущен однажды, и все молча обеспечивали его действие как нечто само собой разумеющееся. Не один, так другой действовал бы точно так же, как он, на основе распоряжений и приказов сверху – и вот в этом я склонен ему верить. Мне до сих пор сложно понять, какую часть персональной ответственности за это несет каждый из нас. Я сейчас не говорю о моральных уродках, действия которых имеют лишь одну возможную оценку, такие, безусловно, тоже были. Взять хотя бы дегенерата Глобочника¹⁴. После сове-

¹³ Рейнхард Гейдрих (1904–1942) – обергруппенфюрер СС, начальник Главного управления имперской безопасности, в которое с 1939 года входила тайная государственная полиция (гестапо). Считался правой рукой рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

¹⁴ Одило Лотарио Глобочник (1904–1945) – группенфюрер СС, с июля 1941 по январь 1942 года уполномоченный рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера по созданию системы концлагерей на территории Генерал-губернаторства (оккупи-

щания в Ванзее, на котором Гейдрих окончательно дал понять, что отныне мы добиваемся не эмиграции евреев, а их истребления, в Люблин бригадефюреру Глобочнику полетел приказ подвергнуть этому решению сто пятьдесят тысяч евреев. Глобочнику пришлось в срочном порядке испрашивать себе еще один приказ с новыми цифрами, ведь к тому времени он умертвил уже не меньше двухсот пятидесяти тысяч. Но сейчас речь не о таких, а об остальных, не проявивших инициатив, но лишь исполнявших. Как я уже говорил, когда подобные действия совершает вся нация, они перестают трактоваться как преступление, но становятся новой нормой. И с таким подходом любая, даже самая извращенная мораль начинает усваиваться мозгом как нормативная. Именно поэтому основной целью было вовлечь в процесс каждого. И каждый стал крохотным, но винтиком целого механизма, каждый просто существовал и даже не осознавал, что спустя десятилетия его будут рассматривать не как единицу массы, которая всего-то хотела достойно и сытно прожить свою жизнь, но как часть движущего процесса истории. Как часть, которая осознает, что ничто не делается само по себе, но все итог какого-либо действия человека или без-

рованной Польши). Был непосредственным руководителем люблинских лагерей смерти: Белжеца, Майданека и Собибора, а также Треблинки. Принимал участие в уничтожении Варшавского и Белостокского гетто. Отличался особой жестокостью. В личном деле имел, в частности, следующую характеристику: «Безрассудство и ухарство приводят его часто к нарушению установленных границ даже в рамках эсэсовского ордена».

действия. Которая ответственна, которая творила, потворствовала, не воспрепятствовала и тому подобное. Тот винтик не осознавал, что его персона в принципе удостоится того, чтобы быть рассматриваемой, настолько он считал себя не влияющим ни на что, но исключительно выполняющим то, что должно. Тот винтик считал все происходящее естественным процессом, которого просто не может не быть, для него это было обычное течение жизни, закономерность. Но истина в том, что без того винтика, сколь бы крохотным он ни был, весь огромный механизм мог дать сбой. И потому все эти «я лишь...» не были оправданием. Кто-то был этим винтиком осознанно, кто-то – бессознательно, кто-то только делал вид, что бессознательно. Но цель была достигнута – в окончательное решение так или иначе была вовлечена вся нация, все общество. Когда в Заксенхаузене в сентябре сорок первого начали расстреливать по три сотни советских военнопленных в день, полноценного крематория в лагере еще не было. Трупы жгли в передвижном, не удерживавшем ни дым, ни смрад. Все это быстро достигло домов Ораниенбурга. Я помню одного белобрысого, в коротеньких коричневых шортиках, лет пяти, не больше. Он подошел ко мне и деловито осведомился: «Герр офицер, а когда снова будут жечь русских?» Все знали. Это просто началось с малого, не как нечто грандиозное и невероятное, а просто как очередной процесс, которых сотни тысяч происходят в любом государстве. И если кого-то это покорило в самом начале, то он

оглянулся по сторонам, убедился, что все молчат, и решил, что ему показалось, будто в этом есть что-то дьявольское, нечеловеческое, противное нашему естеству. Но дело в том, что точно так же оглянулись все и подумали то же самое. Все молчали и прилежно трудились, как если бы это была обувная фабрика или машинный завод. Взять хотя бы тех же врачей. О медицинских экспериментах в лагерях заговорили после войны с придыханием, с расширенными от ужаса глазами, тоном, в котором сквозило откровенное неверие. Но разве были они для кого-то секретом во время войны? Я говорю о медицинских кругах. Их широко обсуждали на различных врачебных и фармацевтических конгрессах, где горделивые публичные доклады о проведенных исследованиях зачитывались один за другим, где на трибунах в открытую сообщалось, кто был использован в этих экспериментах и что с ними стало. Но хоть кто-то в зале выразил озабоченность этической стороной вопроса тогда? Многие профессора, которым был дан полный карт-бланш на их лагерные изыскания, печатались в научных журналах. Я лично помню восторженного специалиста из «Байера»¹⁵, который

¹⁵ «Байер» – немецкая химическая и фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. Была частью «ИГ Фарбен», крупнейшего в Европе химического и фармацевтического конгломерата, который поддерживал нацистский режим, в том числе финансово. «ИГ Фарбен» владел половиной акций компании, которая производила «Циклон Б». В течение Второй мировой войны «ИГ Фарбен» активно использовал рабский труд заключенных и заказывал для проведения опытов узников в концентрационных лагерях. После Второй мировой войны за участие в организованных военных преступлениях союзники разделили

приезжал к нам в Дахау тестировать сульфаниламиды на заключенных. Тестировал самозабвенно. Благодарил за подаренную возможность. Потом еще раз приезжал во время эпидемии тифа, привозил очередную партию препаратов.

Перебирая все это в памяти, я понимаю, почему не пытался бежать из Германии после окончания всего того ужаса, как многие, теми крысиными аргентинскими тропами. Не было более безопасного места для бывших эсэсовских преступников, нежели Германия, погрязшая в прозрении того, что совершала и позволяла совершать. Ведь нет ничего более связывающего, нежели соучастие. Все мы оказались связаны круговой порукой. А потому одни не имели никакого морального права призывать к ответу других. И общество это ощущало в массе своей, ведь всей нации сломали человеческое мировосприятие и постепенно адаптировали к насилию. Сломали настолько, что однажды один сердобольный водитель, везший меня в Хелмно, заметил про евреев: «Пожалуй, прикончить их быстро и безболезненно милосерднее, нежели они будут медленно подыхать от голода в гетто». А как вам такое проявление человеколюбия: вначале айнзацгруппы¹⁶ расстреливали только мужчин, но что было делать

«ИГ Фарбен», и «Байер» возродилась как независимая компания. На процессе в Нюрнберге директор «Байер» Фриц тер Меер был приговорен к семи годам тюрьмы. Выйдя на свободу, он вновь получил высокий пост в компании.

¹⁶ Айнзацгруппы полиции безопасности и СД – военизированные группы, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР. Согласно официальным данным, общее число

с их женщинами и детьми, у которых больше не было кормильца? Ведь они были обречены на нищету и голод. И уже в августе сорок первого решено было расстреливать всех. Видите, одно цепляло за собой другое, ужас ситуации нарастал постепенно, а не вдруг. И по той больной логике в какой-то момент мы увидели в решении расстреливать вместе с мужчинами женщин и детей проявление сострадания или, того страшнее, гуманизма. Так поэтапно, шаг за шагом, мы спустились на самое дно человеческой природы, заставив колесо эволюции крутиться вспять. Изначально за понятием «окончательное решение еврейского вопроса» стояла лишь эмиграция, богом клянусь. А потом как-торосло... Я не оправдываюсь, господа, я просто объясняю, как оно было. Чтоб вам было проще понять. Хотя где уж тут понять подобную степень повреждения разума у целой нации. Нации, ставшей венцом человеческого развития, олицетворением того, что мы называли высокоразвитой цивилизацией. Наконец, нации, которая в двадцатые годы благостно следила за тем, как евреи Восточной Европы пытаются скрыться в ее сени от ужасающих проявлений антисемитизма: погромов, избиений и унижений. Вот уж поистине дьявольский выверт истории. Но нужно быть честным – нация позволила сделать это. Нация не сильно сопротивлялась. Какое у нее оправдание? Те несчастные заключенные хоть могут сказать:

еврейских жертв в результате акций уничтожения этими группами составляет 900 000 человек.

«Нам угрожали оружием». А немцы? Угроза концлагеря? Никакой концлагерь не смог бы вместить весь немецкий народ! Правда в том, что сладкая возможность спихнуть все свои лишения, проблемы и неустроенную жизнь на другой народ, который не спешил давать жесткий отпор, дурманила голову. Это пьянило сильнее всякого вина. И вся нация опьянела, за исключением некоторых «трезвенников». Правда, и такие набрались смелости подать голос за пределами дома только после войны, например мой дурак-отец, которого я уже упоминал. Несчастный человек. Его действительно переполняли ярость и жгучий стыд. Напившись до беспамятства, он начинал буйнить в местных пивных, горлопая о постыдной и сознательной слепоте немцев, обвиняя всех и вся вокруг. Его пытались утихомирить: «Люди этого не заслужили, Эмиль. Они не знали, что творится за колючей проволокой». – «Разве? Мировое господство всем пришлось по вкусу. Низложение Франции? Конечно! Присоединение Австрии и Чехии к рейху? Отлично! Стадо рабов – поляков и русских для удовлетворения всех нужд арийцев? Замечательно! Задушить мировое еврейство, сосущее нашу кровь? Обязательно! Правду все знали, каждый день с трибун она вещалась в открытую. Разве по радио не слушали мы речи фюрера, который заверял, что наше право на все это лежит в самом законе природы? И все согласились». – «А если бы не согласились, то оказались бы там же, за колючей проволокой, Эмиль». – «Восемьдесят миллионов! Восемьдесят мил-

лионов немцев, черт бы нас побрал! Да у них бы проволоки не хватило! Мы не хотели раскрыть глаза, иначе это потребовало бы от нас определенных выводов. Это добровольная слепота. Мы видели, как запломбированные вагоны, полные полуголых истерзанных женщин, стариков и детей, мучимых голодом и жаждой, двигались из городов в лагеря и возвращались обратно пустыми. И мы не задавались вопросами. Хотя каждый знал, что творится в этих лагерях! Колонны этих несчастных, оголодавших, избитых гнали через города и деревни, не таясь! Мы видели нескончаемый дым из труб! Мы все это видели, но предпочитали не лезть. Мы считали, что нас это не касается. А это касалось любого здравомыслящего человека! Худшее, что мы могли сделать, – это не сделать ничего...» – обычно на этих словах его выталкивали на улицу, чтобы он не смущал остальных, пришедших расслабиться после тяжелого трудового дня и пропустить кружку-другую. Чего хотел добиться старик? Все уже давно уверовали: раз вся нация преступна, значит, никто не в ответе за это преступление. Хотел оправдаться? Перед кем нужно было бы – тех уже не было. Перед будущими поколениями? Обойдутся. Как бы сами не вытворили чего хуже. Перед самим собой? Пожалуй, что неплохо бы.

Я тоже жажду хотя бы примирения – с самим собой, конечно, на большее не рассчитываю. Но, к сожалению, мне это чувство недоступно. Для меня оно лежит в области полного искупления, которое невозможно, и глупо верить, что это

удастся кому-нибудь из нас. «Понимание не обязательно ведет к оправданию и прощению» – уж не упомню, где я это услышал, но это верно: я способен объяснить, как так случилось, возможно, вы даже поймете, как постепенно произошел тот слом, заставивший незаметно переступить черту дозволенного, но, даже поняв, вы вряд ли сумеете оправдать или, того сильнее, простить. Постыжение и уразумение не всегда ведут к прощению, уж точно не в нашем случае. Так стоит ли пытаться? Любопытное, конечно, человеческое качество – прощать. Совершенно для меня необъяснимое. Многие искренне веруют, что способны на это, и даже заявляют об этом во всеуслышание, когда кто-то молит их о том, но вы никогда не узнаете, так ли это на самом деле, теорема эта недоказуема. Возможно, прощать было бы легче, если бы каждый осознал, что делает это в первую очередь для себя, а не для подлеца-обидчика, потому как обида, гнев и ненависть к тому, кто остутился, нещадно терзают в первую очередь наш разум, и не только разум, но и само физическое здоровье наше. Но пока мы верим, что прощение нужно исключительно оступившимся, мы будем малодушно его придерживать, не понимая, почему через годы шалит давление и колет сердце. А ведь не только честное прощение, но даже самое обыкновенное безразличие на месте обиды и гнева при определенных условиях способно высвободить. Но человеку проще гневаться и ненавидеть. Я это проходил, я тоже ненавидел, вначале их, потом... самого себя. И теперь

я так до конца и не разобрался, чего во мне больше сейчас – горькой вины или жгучего стыда? Говорят, стыд мы испытываем, когда нас волнует внешняя оценка других, а вина идет рука об руку с внутренним самоедством и только по тем дорогам, где хаживала совесть. В этом смысле вина была бы предпочтительнее. Благословенно будет место, где единственной властью станет совесть и чувство вины. А если верите, что для человека главным ограничителем является карательный орган, как принято считать в обществе, то ошибаетесь. Скорее его фантазия и то, что мы прозвали здравым смыслом.

В этой связи я вспоминаю Отто Олендорфа – командира айнзацгруппы D. Он был из тех редких людей, кто действительно беспокоился за своих солдат и их будущее чувство вины. Он никогда не позволял им устраивать расстрелы по отдельности, приказывая всему взводу жать на курок одновременно. Таким образом он решал вопрос личной ответственности и психологического давления, потому как считал, что все эти экзекуции были равно тяжелым испытанием как для жертв, так и для... его парней. Уравнял, что ж. Но я вдруг понимаю еще одно: по сути, у его парней была отличная возможность промазать. По большому счету, все мы имели возможность тщательно взвесить, оценить законность своих действий и их последствия, а затем взять и «промазать», если уж на открытое выступление не хватало решительности. Мы были не свободны в действии, но могли про-

явить подобие воли в бездействии. И только единицы так поступили. А потому не тешьте себя мыслями, что это дело рук маленькой группки умалишенных, дорвавшихся до власти, и что всего несколько больных чинов в СС ответственны за этот кошмар. Ведь если бы это было так, то режим пал бы в результате восстания немецкого народа против этого ужаса, но он пал всего лишь из-за поражения вермахта совсем на других фронтах борьбы. В действительности это было миллионное сплочение, иначе мы бы попросту не выстояли столько лет против могущественных держав и сил.

И сейчас вам нужно набраться сил и посмотреть правде в глаза: они – это все мы, по сути. Кто смелее, возможно, найдет в себе силы еще сильнее персонализировать: тот, сбрасывавший синие гранулы ядовитого пестицида, – это я. Признаться, хоть ты никогда не видел, что творится за высокой колючей проволокой под серым тягучим дымом, но это ты вел их, закрывал тяжелую герметизированную дверь, сбрасывал кристаллы синильной кислоты вниз, наблюдал через мутные смотровые щели, ворошил багром влажную слипшуюся кучу тел, пропитанную экскрементами, растаскивал этот липкий скорченный ком, вез его части на тележках к печам крематория, укладывал как можно компактнее, затем вычищал пепел... И все заново. По кругу. Признай: не только потому, что не нашел в себе сил выступить против, не только потому, что трусливо молчал, глядя на тяжелый, вязкий дым на горизонте и чувствуя тошнотворный запах, но и потому

(быть может, тогда ты еще даже не родился), что сам бы это делал, если бы провидение было не столь милосердно к тебе и поставило на его место. Не обманывайся: если бы тебе приказали, если бы тебе платили за эту работу, если бы ты видел, что это происходило повсеместно, стало нормой, что каждый так поступает, если бы тот, кому ты верил, сказал, что это правильно, в конце концов, что в этом высшая справедливость, историческая и природная закономерность, – да ты бы и сам в это уверовал, глядя, как дисциплинированно они идут на это газовое заклатие, словно и сами верят, что так надо и роптать против этого не должно и бессмысленно, – ты честно и усердно, как любой исполнительный гражданин и патриот своей родной земли, делал бы свою работу. Безусловно, ты мог не быть тем, чья рука непосредственно во рошила пепел и закрывала заслонку в печи, но будь уверен, ты бы занял свое место в этом адском устройстве, стал бы его винтиком. И вскоре эта работа сделалась бы для тебя рутиной. Думаешь, мы были другими? Никто из нас и помыслить не мог, что способен на такое, пока не начал это делать. Думаешь, это в прошлом? Знай, что и сейчас где-то среди вас живут такие же несостоявшиеся охранники, капо¹⁷, пулеметчики с вышки, лагерные врачи-исследователи. И узники. Это уж непременно. И нужна лишь подходящая ситуация, чтобы они проявились вновь.

¹⁷ Капо – привилегированный заключенный, сотрудничавший с администрацией в концлагерях нацистской Германии.

Я могу привести сотни примеров добропорядочных граждан, тех самых, которые поначалу «и помыслить не могли». Знал я талантливого ученого-химика и не менее талантливое дельца Бруно Теша, который держал вполне себе безобидное предприятие – фирму по производству дезинфицирующих средств. Выработка на загляденье: две тонны кристаллического цианистого водорода в месяц. Он же синильная кислота – основа для «Циклона Б». Теш вполне мог избежать виселицы после войны, заявив, что продавал свою продукцию исключительно для дезинфекции, а уж как там в лагерях ею распоряжались... Но вот ведь какое дело, все это стало такой обыденностью, что химик, прекрасно зная, для чего используется его продукция, не задумываясь предложил Рудольфу Хёссу¹⁸ поставлять не только «Циклон Б», но и специальное вентиляционное оборудование для газовых камер. Переписка эта была случайно найдена во время процесса. Теш и его первый заместитель Карл Вайнбахер были повешены. Но я хочу сказать, что таких была уйма: промышленники, директора, предприниматели – завидные отцы семейств и добропорядочные мужья, ревностные христиане, необъяснимым образом подладившие свой бизнес под реалии времени и сумевшие извлечь из этого немалые барыши. Когда в руководстве «ИГ Фарбен» встал вопрос об открытии очередного завода по производству синтетического

¹⁸ Рудольф Хёсс (1901–1947) – оберштурмбаннфюрер СС, комендант концентрационного лагеря Аушвиц в Освенциме.

топлива и каучука, оно обратило свои взоры на непримечательное польское селение Дворы близ Аушвица. Отличное транспортное сообщение и все природные ресурсы под рукой, а то, что рядом подневольные рабочие, – любопытное совпадение, не более. Рабский труд заключенных? Боже упаси! А если серьезно, какой делец откажется от фактически бесплатных рабочих рук по соседству? После того как «ИГ Фарбен» торжественно объявил о строительстве завода возле Аушвица, Гиммлер так же торжественно приказал расширить лагерь с десяти тысяч заключенных до тридцати. Четыре года эти тысячи надрывались и умирали там. Умирали на строительстве завода, с конвейера которого впоследствии не сошло ни грамма синтетического каучука. Он выдавал нагору лишь трупы. До полного изнеможения работали и на заводах Густава Круппа – на радость и материальное благосостояние старого барона, которому уже и не нужно было то космическое состояние, а скорее добротная утка и исполнительная сиделка, поскольку старик впал в полный маразм. После войны судебные разбирательства вскрыли рыло респектабельной набожной промышленности, продемонстрировав ее глубокие познания в концлагерной действительности. Но будем честны, первоначальный шок от увиденного в лагерях прошел довольно быстро, гнев и ярость утихли, потому как мир торопился жить дальше, как я уже говорил. И многие действительно ответственные за страшное, бизнесмены, без зазрения совести пользовавшиеся принудитель-

ным трудом узников, сумели всеми правдами и неправдами дотянуть до периода «оттепели», когда уже даже судейский корпус был утомлен воплями выживших о возмездии. И они получили довольно мягкие, а некоторые – так и все оправдательные приговоры. Помню одного охранника, который попал в Аушвиц на закате существования лагеря, хромой фронтовик после серьезного ранения, на передовой уже совершенно бесполезный. Оказавшись в лагере, он даже форму СС отказывался носить, предпочитая свое вермахтовское обмундирование, впрочем, тогда уже всем было плевать, кто во что одет, – мы стремительно двигались к краху. Это был утомленный и разочарованный ветеран, которому было не до узников. Нет, хлеб он им, конечно, не подавал, но и не поднял руку ни на одного из них. Держу пари, он даже не сподобился на оскорбление хоть одного заключенного. И он был казнен в апреле сорок шестого, как и многие другие рядовые охранники, личные водители, курьеры, помощники – те, которым просто не повезло, которые когда-то были отправлены в распоряжение не того человека. В то время как, например, тот же сынок Круппа, еще в сорок третьем перехвативший бразды правления империей у батюшки-маразматика, был приговорен к двенадцати годам, да и того не отсидел, будучи выпущен на свободу через три года по общей амнистии, – вернули и корпоративное имущество, и личное состояние, разве что не извинились вдогонку, хотя, может, и извинились, откуда мне знать.

Суть в том, что нельзя было надолго отправить в тюрьмы весь цвет высшего промышленного общества, оно и так терпело крах, а потому сошлись на том, что обвиняемых назвали оступившимися коммерсантами, которых заведомо ввели в заблуждение и которые исключительно по незнанию сумели извлечь всю возможную выгоду из суровых реалий режима. В конце концов, оступившиеся принесли извинения.

Подобная судебная чертовщина происходила повсеместно. Бывший комендант Гросс-Розена Йоханнес Хассебрёк, руководивший лагерем с октября сорок третьего и до самой эвакуации, прожил долгую и счастливую жизнь. Когда он был назначен на должность, в Гросс-Розене было не более трех тысяч заключенных. За время его службы эта цифра увеличилась до восьмидесяти тысяч. Кроме того, Хассебрёк отвечал и за тринадцать филиалов Гросс-Розена, куда отправляли умирать на тяжелых работах тех, кого уже не вмещал основной лагерь. Всего в хозяйстве Хассебрёка погибло около сотни тысяч. Во времена оны им были довольны: главный инспектор концентрационных лагерей, всесильный алкоголик Рихард Глюкс не скрывал, что радуется успехам своего протеже на службе. Англичане приговорили Хассебрёка к смертной казни. Позже это решение заменили на пожизненное, еще позже на пятнадцать лет, а вышел он и вовсе в пятьдесят четвертом и подался в бизнес, кажется, открыл лавку в Брауншвейге. Выжившие узники пытались прижать к ногтю бывшего коменданта и после этого, но он был оправ-

дан как местным судом, так и Федеральным конституционным судом Германии после апелляции обвинения. До последних дней Хассебрёк не скрывал, что сожалеет о крахе Третьего рейха, о чем с ностальгической грустью поведал одному израильскому историку, вздумавшему написать про него в своей книге.

Еще один пример. В Сербии немецкая армия столкнулась с сильным партизанским сопротивлением. На всякий случай расстреляли всех евреев мужского пола. Встал вопрос, что делать с их семьями, армейцы не хотели брать на себя ответственность и спихнули несчастных вдов с детьми на местного командира полиции и безопасности доктора Эмануэля Шефера. Шефер посчитал, что правильнее всего будет умертвить их в газвагенах. Шесть тысяч двести восемьдесят женских и детских душ. В пятьдесят третьем наконец и он предстал перед судом в Кёльне. Он получил шесть с половиной лет тюрьмы. За шесть тысяч двести восемьдесят душ. Это по девять часов и шесть минут тюрьмы за каждого убитого. Как вам такой расклад? А если я скажу, что Шефер вышел досрочно спустя три года? Получается по четыре часа и восемнадцать минут за каждого. После освобождения Шефер переехал в Дюссельдорф, где работал рекламщиком до самой смерти. А потому, повторяюсь, суд человеческий – сомнительное заведение. Я не увидел в нем правды ни во времена нашей силы, когда судили евреев и противников режима, ни после, когда мы поменялись местами. Приговор

всегда и везде заказывали режим и его нужды на данный момент. И не дай вам бог уверовать, что чистое правосудие, основанное на справедливости, может стоять в основе того приговора. То, что один суд сегодня назовет «форсированной эмиграцией» и законной «конфискацией», другой завтра назовет «гоном на смерть» и «разграблением чужого имущества». Смотря кто у власти в день заседания.

По большому счету всем нам нужно было извернуться и продержаться в тени до того времени, когда трибуналы союзников над военными преступниками завершились и эстафетную палочку в этих делах приняли немецкие и австрийские суды. Случилось это в пятьдесят пятом, тогда утвердили знаменитый сто четвертый закон¹⁹, который передавал денацификацию полностью в немецкие руки. Это должно было помочь Германии «восстановить доверие мира», так говорилось в преамбуле того закона. Фактически союзники передали бремя наказания немцев немцам и с интересом следили, что сами творившие думали о своих делах, какова степень осознания и какую меру считали заслуженной за то, что со-

¹⁹ Закон № 104 «Об освобождении от национал-социализма и милитаризма» от 5 марта 1946 года. Первый закон после войны, который приняли немецкие органы власти, а не оккупационные. После принятия этого закона 13 миллионов немцев прошли анкетирование, которое должно было помочь определить степень их вины и причастности к нацизму. Трибуналы не справлялись с валом обвиняемых, в итоге была объявлена амнистия для всех рожденных после 1 января 1919 года, нетрудоспособных и малообеспеченных. Из 13 миллионов лишь 613 тысяч были признаны в той или иной степени причастными к деяниям нацизма. Основными преступниками были признаны 1600 человек.

творили. Немцы со всей свойственной им педантичной основательностью приступили к делу, начав делить всех на категории, подкатегории и подподкатегории: на тех, кто творил, и тех, кто извлекал выгоду, на тех, кого просто зацепило, кто оказался не в том месте не в то время, на тех, кто числился, но не делал, и тех, кто делал, но не числился, на тех, кто преследовал по приказу и кто – по инициативе, кто сочувствовал, но ничем не помогал, кто помогал, но молчал, кто занимал должность, но не извлекал из этого дивиденды, кто сорвал куш, но в партии не состоял, кто участвовал, но не проявил себя, кто проявил, но не состоял, на тех, кто... кто... кто... Были даже созданы судебные палаты, которые сортировали всех по группам. В палаты входили председатели, заместители и бесчисленное множество заседателей, чьи кандидатуры утверждал министр по делам политического освобождения (и такого придумали). Только в американской зоне было рассмотрено три с половиной миллиона дел. От этого утомились даже бесчисленные заседатели, сидевшие на окладах. И как-то постепенно занялись перевоспитанием: обязательные экскурсии в концлагеря, лекции, просмотр документальных фильмов. Работа ведется, и бог с ней. Перевоспитание случилось, «доверие мира» было восстановлено, а старое позабыто, при разработке новых указов немецкие законодатели обратились к новоявленному мерилу, отныне почитавшемуся за образец, – Конституции США. Конституции, при создании которой в свое время

опирались на европейские принципы законности англичан, французов... и немцев (и снова гомерический хохот про себя, ибо проклятая боль в груди по-прежнему не дает этого сделать вслух). Что ж, все круги имеют свойство замыкаться. И когда наказание уступило место порицанию, тогда даже у самых отъявленных появился шанс. Если они не Эйхман, конечно. Доходило ведь до абсурда. Так, один австрийский суд, в Инсбруке, если мне не изменяет память, внимательно заслушав показания свидетелей-евреев, бывших заключенных Плашова²⁰, заявил, что описанное ими насилие просто не укладывается в голове, а потому не могло происходить на самом деле. «Невообразимо» – так было сказано этим свидетелям. Идиоты. Вообразимо все. Тем более то, что происходило на самом деле. На самом. Деле. И вот тут-то в отдельно взятом случае во всей красе исполнилась одна из наших старых надежд: мир просто не поверит в это, ведь де-юре мы были одной из самых просвещенных наций цивилизованной Европы. Но мы не умели даже скрыть все это должным образом. Мы верили в свою победу, а потому закапывали неглубоко во всех смыслах. А потом... потом все случилось так быстро, что закопать глубже уже не было времени, об этом не думали, просто отступали, опять же во всех смыслах. И надо же было такому случиться, действи-

²⁰ Плашов – концлагерь в южном пригороде Кракова. Его комендантом был Амон Гёт, известный своими садистскими наклонностями. Часто развлекался тем, что натравливал свою собаку на заключенных.

тельно нашлись идиоты, не поверившие, – обвинения в том австрийском суде были сняты.

Я продолжаю анализировать, снова и снова пропуская всё сквозь мелкое сито моих старческих воспоминаний, терзаю себя и зарываюсь еще глубже. Ведь не могло все сводиться к банальному исполнению приказа. Даже с напрочь искаженным восприятием действительности, с разумом, поврежденным «новой нормальностью», были необъяснимые попытки абстрагироваться, совершаемые будто бы бессознательно. Даже в лучшие времена, когда немецкая армия атаковала на всех фронтах и тень расплаты не маячила на горизонте, мало кто желал афишировать свою явную причастность к акциям. Да, мы могли обвинять евреев во всех бедах и грехах, кричать об этом во всеуслышание и одобрительно кивать головой, слушая радио и читая партийные газеты, но это не то же самое, что быть персонально ответственным за смерть конкретных Сары, Ривки, Авраама или маленького Шломо. Никто не желал, чтобы соседи узнали, что именно он расстрелял того мальчика, жившего на их улице, никто не желал, чтобы родные узнали, что именно он отдал приказ уничтожить ту семью, державшую швейную мастерскую неподалеку. Помню, рейхскомиссар Остланда Генрих Лозе, окончательно запутавшийся в устных распоряжениях, приказал остановить расстрелы евреев в одном из подконтрольных ему латвийских городков и в отчаянии запросил официальную инструкцию по их уничтожению. Но найти подоб-

ную директиву на бумаге ему тогда так и не смогли. И дело не только в том, что вопрос был деликатный, запрещенный к разглашению, но мало кто жаждал оставлять истории свою подпись под подобным распоряжением. Очевидно, ту истину, что происходившее преступно и наказуемо, ответственные постигли интуитивно, а потому, выходит, где-то в глубине наш организм чувствовал неправильность. Я специально не говорю – разум. Разум наш в тот момент умер – с этим приходится согласиться, и это лучшее, что он мог сделать для процветания той системы. Но что-то пробивалось в наше нутро сквозь общенациональный морок, если ответственные избегали прямых приказов на бумаге, и это, увы, лишает последнего оправдания, за которое можно было уцепиться. Ну что ж, виновны по всем статьям.

Тот, кто и по сей день отчаянно цепляется за верность присяге, за подчинение, дисциплину и долг, объясняя творившееся, искренне веруя, что это может стать оправданием, живет и ныне мертвым разумом. Что не самый плохой вариант для них.

В какой-то мере я даже завидую таким. Я, к своей горечи, теперь ясно понимаю, что мы, солдаты СС, были совершенно свободны в своем выборе. Тогда мы полагали, что если откажемся убивать, то убьют, скорее всего, нас. И по своему невежеству или гордыне мы не видели в той ситуации выбора. Но в том он и состоял: убивать или быть убитым. Варианты, которые предоставляют обстоятельства, не всегда могут

быть по душе, но этот выбор неизменно есть, и мы свободны в нем. Даже там и тогда мы могли проявить свою свободу воли. И теперь я понимаю, что всякое мое действие есть мой выбор. Не приказ, не распоряжение, не просьба – это исключительно мое решение.

Теперь, конечно, миллионы людей, которых тогда еще и на свете-то не было, уже составили свое собственное мнение о случившемся – я имею в виду произошедшее под названием «Третий рейх», – и это мнение давно утвердилось и пересмотру, конечно же, не подлежит. Но в действительности все было несколько сложнее, да. Говорят, молодым теперь страшно от осознания того, что было бы в случае нашей победы. А что было бы? Тут все просто: не было бы преступников-нацистов, были бы нацисты-триумфаторы, а победителей, как известно, не судят. Я не был победителем, поэтому отец судил меня. Судил и прятал после войны в подвале нашего старого дома в Мюнстере, отчаянно оберегая от другого суда. Такая вот семейно-правовая драма или комедия, тут как вам угодно. В первые годы я еще пытался малодушно искать свою правду в творившейся вокруг чертовщине, с тупым упорством указывал отцу, что только спустя три года ООН догадалась официально признать геноцид преступлением и определить наказание за него.

– Так за что судили в Нюрнберге, если такого преступления юридически не существовало? Задним числом, отец? Но закон не имеет обратной силы. Видишь, на всяком суде

нашлось место лицемерию!

– Спрашиваешь, по какому закону судили? По закону человеческого бытия. От человека не должно вонять трупами, сынок.

Я заткнулся. Он меня уел. На это мне нечего было ответить. Несмотря на такие вспышки, я тепло вспоминаю период наших подвальных споров и молчаний. Не потому, что тогда мы вдруг стали чем-то напоминать семью, но потому, что тогда мне не надо было убивать... Сидеть месяцами под собственным домом – невелика цена за такую благодать. Сны, правда, были истинной мукой, да, впрочем, это и сейчас так. Меня корежит во сне и скручивает в потный, липкий ком ядовитого страха. Я прикрываю глаза и вижу сквозь небольшие отверстия, как люди наползают друг на друга, карабкаются, невольно и безостановочно давят один другого, отчаянно пытаюсь добраться до массивной двери, как раздирают собственные лица и цементные стены с одинаковой легкостью, как безнадежно вгрызаются в воздух в попытке захватить хоть каплю того, что поможет их легким дышать, но вместо этого заглатывают еще больше газа. Я слышу их хрип, который, оказывается, может быть истощным, вижу их выкатившиеся глаза и вывалившиеся языки, слышу, как сочатся жидкие испражнения из их обмякших тел. Каждую ночь я задыхаюсь под горой тех тонконогих трупов с раздутыми животами и заострившимися треугольными черепами, обтянутыми синей кожей, каждую ночь я пытаюсь выбрать-

ся из-под них и глотнуть воздуха, но вместо этого в мой горячий рот с сухой белой пленкой у кромки губ попадает окаменевшая рука или посеревшая стылая пятка. Я вижу эти скрученные тела-веревки, их опавшие подбородки, черные осколки зубов и чувствую вкус того, что вижу, – гной, гниль разложившегося могильника, испещренного мелкими опарышами, которым и поживиться-то нечем, ибо плоти почти не осталось. Но вдруг одно из тел начинает шевелиться, то, что когда-то было головой, приподнимается и уставляется на меня темными пустыми глазницами. Я просыпаюсь. Обмочившись. Лежу в мокрых кальсонах, смотрю в белый потолок.

– Как мало ты знаешь, Ривка. – Я откинулся на подушку.

Дыхание опять стало тяжелым и прерывистым. Ривка поспешила приложить маску к моему лицу. Сделав несколько вдохов, я убрал ее.

– Если вам хуже, я могу позвонить вашей жене, – смягчившимся голосом проговорила медсестра.

Еще чего не хватало. Я внутренне содрогнулся от подобной перспективы.

– Ривка, ты видела мою жену?

Девушка отрицательно покачала головой.

– Не вздумай звонить этой глупой корове. А вдруг я умру и ее бессмысленные глаза будут последним, что я увижу в этой жизни? Это страшно, Ривка. Нет-нет, нужно свести к минимуму ее посещения. В моей корове нет ни капли прав-

ды, ни грамма истины, ни в ней, ни в ее выкормышах, которых она, на свою радость, понесла от меня. Ничего нет и никогда не было. Она прах и тлен. Ривка, ты представляешь, каково это – спать с прахом, совокупляться с тленом? Это страшно, Ривка.

Медсестра растерянно смотрела на меня, не зная, что ответить. Пытаясь скрыть замешательство, она полезла под кровать за колокольчиком.

– Это страшно, Ривка, – повторил я, глядя в белый потолок.

Девушка вытащила колокольчик и положила его на прикроватную тумбочку.

– Зачем же вы женились на ней?

Я пожал плечами.

– С женой меня спарили обстоятельства. Обычные, жизненные. Ей нужен был статус замужней дамы, а мне – чистые носки и рубашки. А впрочем, почему бы и нет, не она, так другая. Кто-то же должен был тушить мне капусту и отбеливать воротники.

– И вы ее никогда не любили? – с недоверием спросила медсестра.

Я усмехнулся и посмотрел на нее, но черты лица не мог разглядеть.

– Дай-ка мне очки, – попросил я.

Она достала из ящика тумбочки футляр, вытащила из него очки и помогла мне нацепить их на нос. Я еще раз

внимательно посмотрел на девушку. Хорошенькая, с большими серыми глазами, в которых светилось и любопытство, и опаска, и еще черт знает что.

– Ее – никогда, – честно ответил я.

– А вообще? – Ривка присела на край моей кровати.

Я задумался. И вновь начал вспоминать. Всю свою жизнь я бежал от воспоминаний, но от воспоминаний о *ней* в особенности. Моей единственной искренней надеждой было то, что когда-нибудь смерть избавит меня от этой тяжелейшей пытки памятью... соединив нас вновь.

Я начал вспоминать скрупулезно, тягуче и болезненно, день за днем своей никчемной жизни, чтоб еще раз попытаться понять, как могло стать то, что случилось.

Виланд

Я родился девятнадцатого марта тысяча девятьсот тринадцатого года в баварском Розенхайме. Меня назвали Виланд Кристоф Райнер фон Тилл в честь дедов по обеим линиям и какого-то друга детства моего отца. Первые годы жизни я провел словно в тумане, помню только постоянные слезы матери, испуганные глаза бабки, у которых на устах было одно слово – «война». Еще не зная, что это означает, я боялся вместе с ними заодно, потому что так надо было, это было общепринято. Все вокруг боялись и с замиранием сердца ждали вестей с фронта.

Отца своего я впервые увидел, когда мне было пять лет. Мы тогда только схоронили бабушку. Помню, возвращались с матерью из лавки, и вдруг она бросила корзину и кинулась на шею какому-то незнакомому мужчине. Он мне сразу не понравился. Какой-то посеревший, худой, с искривленным, изуродованным носом, он внимательно осмотрел меня темными, глубоко запавшими глазами. Но мне ничего не оставалось, кроме как принять его и свыкнуться с его существованием. Именно от него я узнал, что такое война и почему все ее боятся. Отец служил в артиллерии, был произведен в фельдфебели и награжден Железным крестом первого класса, но награду эту цеплял только по необходимости, чаще она пылилась в материнском бюро, завернутая в платок.

Когда никто не видел, я доставал ее и с благоговением рассматривал. Я сдувал с нее пыль и, придерживая за черную ленту с белой окантовкой, с трепетом прикладывал к своей груди. На ордене была чуть заметная царапина, по которой я осторожно проводил ногтем. Однажды отец застал меня за этим делом и дал ощутимую затрещину. В испуге я подумал было, что он боялся, будто я испорчу его орден, но, глядя, как он выхватил его у меня из рук и небрежно швырнул вместе с платком в бюро, я осознал, что дело не в этом. Отец молча вышел из комнаты. Я продолжал стоять на месте, злобно глядя на его уходящее отражение в зеркале.

Я уже вступил в тот возраст, когда многое начал понимать. Мать рассказывала, что отец ушел на войну, будучи полон мыслей о славных делах, которые ему предстояло совершить во имя отечества, и даже маячившая на линии фронта возможность гибели ради этого ничуть его не пугала. Я же увидел разочарованного и уставшего старика двадцати семи лет от роду, придавленного чем-то, что он называл «разбитыми иллюзиями». По вечерам после ужина в нашей семье велись разговоры всё больше о христианской справедливости, перемежаемые литературными обсуждениями, политические же темы были под запретом. Я чувствовал, как в моих родителях взращивался непоколебимый пацифизм, чего они не скрывали, а скорее наоборот. Отец вернулся к своей прежней профессии учителя и на уроках всеми силами насаждал свои взгляды среди учеников. Порой во вре-

мя его пламенных речей мне хотелось провалиться сквозь землю со стыда, я сидел, вжавшись в скамью и опустив голову. Как же в этот момент я ненавидел его, себя, всех вокруг, прекрасно знавших, что я его сын. Сейчас я понимаю, что по большому счету всем было на это плевать, никто не видел ничего зазорного в речах отца, а многие и вообще слушали его с интересом. Тогда же я внутренне кипел. Как он мог говорить о доброте и всепрощении, о бедах, которые несут войны, когда Германская империя теперь стояла на коленях перед всем миром, будучи полностью разоружена, ограблена экономически и земельно, и народ несправедливо задыхался от кризиса? Как можно было такое попустить, простить и забыть? Так мог говорить только трус и предатель. Такой же трус и предатель, как те, которые решили подписать кабальное перемирие, когда мы еще способны были задать жару врагу. На своих уроках отец не позволял писать сочинения на общественные темы – лишь литературно-художественные размышления, он жестко пресекал всякие политические споры в пределах школы, впрочем, как и за ее пределами во время пеших прогулок с классом. Он был активным участником «Перелетных птиц» и постоянно таскал нас в походы, в которых мы проводили какие-то бессмысленные собрания Общества любителей природы, разучивали дурацкие песни из сборника Бройера «Лютня-простушка», затем распевали их, сидя у костра на берегу Кимзее. Живописное озеро располагалось недалеко от города

и за свои размеры было прозвано Баварским морем. Привольно раскинувшееся у подножия гор, оно действительно выглядело впечатляюще, и рыбалка на нем была не таким уж отвратительным времяпрепровождением, а выловленная и приготовленная тут же на костре форель и вовсе была замечательна. Но, к сожалению, все это сопровождалось уже набившими оскомину пацифистскими разговорами нашего учителя – моего отца. Я совершенно не понимал, как можно быть настолько невосприимчивым к тому, что творилось в стране. Наконец мне надоело, и я наотрез отказался участвовать в этом балагане. Отец и мать пытались повлиять на меня, но оба по своей природе были слишком мягкими. Я же обладал тяжелым нравом и сильной волей, возвращенными во мне непонятно каким чудом.

Однажды, слоняясь с друзьями по городу, мы наткнулись на некое подобие митинга. Центром его был затянутый с ног до головы в кожу мотоциклист среднего роста. Лицо его не представляло собой ничего необычного: округлое, бледное, маленький шаровидный нежный подбородок, серые, судя по прищуре, близорукие глаза, тонкие, правильной формы губы. Он снял кожаные перчатки и бросил их на еще горячий бак своего мотоцикла. Я обратил внимание на его ухоженные, почти женские руки, но, впрочем, так же быстро я переключился с его внешности на речь. Он был прирожденным оратором, громко кричал о еврейском капитале и большевизме, призывая к борьбе с теми, кто стоял и за тем и за

другим. Поначалу я мало вслушивался в слова, меня заворожило, как он говорил: порывисто, восторженно, словно готов был тут же выпорхнуть из своей оболочки и, обратившись в слова, которые сам же и рождал, мчаться по миру, раздавая то, во что верил. Я жадно наслаждался зрелищем свежего идейного человека, удивительным образом оказавшегося в нашем захолустье, и постепенно начал вслушиваться в то, что он говорил.

— Это чуждое, негерманское племя давно внедрилось в нашу жизнь, вцепившись исключительно в самые прибыльные и влиятельные сферы. Думаете, сколько их в юриспруденции? Половина! Вы думаете, он свой, но это вы так думаете, потому как этого они и желают, но то лишь видимость. Проникая в чужое сообщество, они всегда пытаются создать государство в государстве. И процесс этот ожидаем, потому как еврей лишен каких бы то ни было представлений о пользе обществу, ведь племя сие не умеет жертвовать, но лишь потреблять. Конечно, живя с нами, они со временем выучивают, как должно поступать человеку достойному, чьи помыслы направлены на благо общества, но, даже изучив эту нехитрую науку, они не пошевелият и пальцем, если это не принесет им барыши. Все, что свято для нас, будь то семья, религия, политика, верность стране, — для них лишь средство наживы. Они не создали ничего прекрасного из того, чем обладают. Ни единой монеты в их кошельке, ни единой тряпицы на их теле, ни единого куска хлеба

в их доме нет, которые бы они не отняли нечестным путем. Здесь нет никаких хитрых схем! Их рыночные спекуляции и аферы просты как дважды два. Они ловко оперируют спросом и предложением, часто откровенно подтасовывая и то и другое, а затем вынуждают производителей продавать им по низким ценам, а сами перепродают по высоким. В итоге обманутый сельский производитель меньше получает, обманутый горожанин больше платит! А что есть разница, излишек? Это и есть еще одна часть мирового еврейского капитала, который растет и крепнет с каждым днем, без оглядки на войны, неурожаи, инфляции и страдания настоящих немцев! И чем больше таких обманутых немцев, тем больше еврейский барыш. Вот они, ваши деньги, заработанные потом и кровью на земле наших немецких предков, они идут на благо и пользу еврейства, которое заглатывает все больше и больше и никак не насытится! Именно этими еврейскими капиталами и были поддержаны «ноябрьские преступники»²¹, которые способствовали провозглашению позорной демократической республики. Эти мерзавцы воткнули нож в спину Германии, принудив великую нацию встать на колени перед врагом, который не был ни сильнее, ни умнее ее. У нашей армии было достаточно сил, чтобы продолжать, но почему они это сделали? И здесь все просто как дважды два: еврейским воротилам не нужна сильная, умная, процве-

²¹ «Ноябрьские преступники» – прозвище немецких политиков, которые подписали перемирие, положившее конец Первой мировой войне.

тающая Германия. Такую Германию они не смогут подмять под себя и доить дальше. Им нужна слабая, покорная и всего боящаяся Германия. Такой они легко смогут управлять, держа за свои нити из-за ширмы. Настало время обрезать эти нити! Пришло время создать сильное государство, власть которого положит конец этому позору, свергнет республиканский режим и уничтожит его еврейский оплот.

– Все дельцы ищут выгоду, еврей ли, немец. А тот, кто не ищет, так тот разве делец? Тот банкрот форменный, – раздался насмешливый голос из толпы.

Незнакомец и не думал злиться, наоборот, улыбнулся и вскинул тонкий палец вверх, вновь призывая к вниманию:

– Это правда, дела ведут все, инстинкт накопительства есть у всякого, самая последняя домохозяйка будет торговаться и искать выгоду, но домохозяйка будет до хрипоты торговаться на благо своей семьи, чтоб сытнее накормить своих детей и усталого после тяжелого рабочего дня мужа. Так же как и немецкий предприниматель будет исходить из интересов не только личного обогащения, но всей Германии. Немецкий делец будет думать и о себе, и о промышленных интересах страны и ее общества. Еврею же это безразлично, все его действия направлены на благо его самого, еврея. Все ресурсы страны, сырье, продукцию, производство – все он употребит лишь себе на пользу. Так делает дела еврей, ему безразличны интересы общества, в котором он живет. Он будет постоянно расстраивать всю экономиче-

скую структуру, торгуя из-под полы, он будет выжимать общество до последнего, и если для того, чтобы закинуть в свой сейф лишний пфенниг, надо будет поменять веру, то еврей сделает и это без раздумий. Ради комфортного накопительства они переходили в христианство, но душой оставались в синагогах, используя новую веру лишь как средство достижения целей. Еврей остается евреем в любой вере, это уже ничем не вытравить из его крови. И, по сути, он становится обыкновенным шпионом, который скрыл истинное лицо за маской, введя в фатальное заблуждение окружающих. Они туго набивают свои кошельки, но когда что-то вдруг идет не так, то тут же прикидываются банкротами и сбегают. Вы для них – лишь средство обогащения. Верите ли вы, что они по доброй воле остановятся? Откажутся от своих грязных прибылей? Нет, они и дальше будут паразитировать на немецкой честности и открытости. Кто после мировой войны быстрее всех достиг богатства и процветания? Евреи. Немцы же продолжают изнывать от неустройства и бед. Почему? Потому что настоящему немцу свойственен честный и тяжелый труд, который не может быстро принести дивидендов. Методы же еврейского предпринимательства заставляют задуматься. Они способны извлечь выгоду из всего, даже из собственного банкротства, которое, безусловно, лишь прикрывает их торгашеские махинации. Обратитесь к истории, друзья мои, и вы поймете, что еврейская раса на протяжении всего времени жила лишь торгашеством, я отказы-

ваюсь называть это торговлей, ибо еврейское предпринимательство – это особый вид предпринимательства. Они не во-евали, не трудились тяжело на земле, культурные и интеллектуальные ценности имели для них интерес только с точки зрения возможной продажи или спекуляции. Всюду, где появлялся еврей, велись дела – будь то музей, библиотека, рынок, площадь, больница или даже война! Кто, как не евреи, извлекал наибольшую пользу из всех военных конфликтов, в которых, конечно же, они не принимали солдатского участия?! Всем известно, что они всегда уклонялись от службы в армии, используя свои финансовые возможности и влияние...

– Хаим служил в мировую, и брат его не вернулся, и сына Штокманов поставили под ружье... – раздался недовольный голос в толпе, но мотоциклист не слышал его.

– И от кого мы получили нож в спину в восемнадцатом? Всеми силами они тайно способствовали этому постыдному перемирию на ужасных для Германии условиях, а потом еще и смели требовать, чтобы мы продолжали выполнять эти условия даже в самые тяжелые времена, в дни сумасшедшей инфляции, напрочь обесценившей все сбережения немцев. Нормально ли это, я вас спрашиваю, когда, получая заработную плату утром, к вечеру честный рабочий уже не может на нее купить даже бутылку молока, ибо утром она стоила пять миллиардов марок, а к вечеру все десять? Когда нем-

цам нечего было есть, этот волк в овечьей шкуре Ратенау²², еврейское отродье, пробравшееся на самые верха, продолжал преклоняться перед Антантой, отправляя им репарации, обескровливающие Германию. Но разве война, проигранная по вине еврейских предателей, является достойной причиной того, чтобы целая нация была обречена на рабство? И не будем забывать, что Ратенау был одним из тех, кто заявил, будто мы проигрываем войну и не имеет смысла ее продолжать. Но так ли это было на самом деле? Когда были подписаны унижительные условия этого постыдного перемирия, наши солдаты были на вражеской территории! На всех фронтах! Понял ли кто-то, почему нас заставили поспешно бросить свои позиции? Много странного в той истории, но одно несомненно: те, кто проливал свою кровь на фронте и гнил в окопах, получили за свою преданность родине лишь позор и бесславие и стали посмешищем в глазах всего мира, потому что кто-то преследовал свои частные цели! И сегодня мы знаем, кто это! Мы знаем, кто эти преступники, не желающие ни воевать за страну, в которой живут и которой обязаны всем, ни возделывать ее землю. Это паразиты, умеющие лишь спекулировать тем, что выращено на этой земле руками немца.

²² Вальтер Ратенау (1867–1922) – немецкий промышленник еврейского происхождения и министр иностранных дел Германии. На посту министра находился с 1 февраля по 24 июня 1922 года, когда был убит членами антисемитской организации «Консул».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.